

Дмитрий Е. Ружников

Род



Дмитрий Е. Ружников

Род

Роман о жизни одной семьи

Санкт-Петербург
2012

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)
Р83

Р83 **Ружников Д. Е.**

Род : Роман о жизни одной семьи. — СПб. : Нестор-История,
2012. — 202 с.

ISBN 978-5-905986-62-8

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)

ISBN 978-5-905986-62-8



9 785905 986628

© Д.Е. Ружников, 2012

Отцу!..

В темном углу освещенного коптящей керосиновой лампой коридора маленькой деревенской школы плакал коренастый, коротко подстриженный мальчик. Слезы текли из глаз, точнее, из одного глаза (другого не было — и слезы лились из пустой глазницы).

Но в этих слезах не было радости. В них было столько страдания и горя! Сын умершего в беломорских лагерях зека-кулака, у которого отроду, кроме большой и дружной семьи, никаких батраков-то не было; он первый из всей деревни получил справку об окончании школы, этот клочок бумаги об образовании, который он сейчас сжимал в своих не по-детски больших и сильных руках.

Заслуженно получил! С отличием окончил школу! Голова у этого мальчика была, и упорство было. Русское упорство. Упорство и ум, переданные ему с кровью его предков.

Начало

1238 год от Рождества Христова. Страшный год!

У-у-у! Вой стоит над Русью. Звериный вой.

У-у-у! Завывает ветер, поднимаясь черными столбами над землей, над пепелищами городов и деревень.

Снег перемешан копытами тысяч лошадей с пеплом, навозом, с раздавленными, разорванными, рассеченными остатками человеческих тел — месивом из костей, мозгов и мяса.

Собаки не боятся волков, волки не трогают собак — все сыты; мяса вокруг — свежего, копченого, тухлого — на любой вкус. По снегу ручейки, ручьи застывающей, еще парящей на морозе красно-вишневой крови.

Вот звери сцепились — маленький, еще живой ребенок попался. Вмиг разодрали!..

Женщина, наверное, мать того дитя, идет воя, падает, поднимается и вновь падает, ползет, водит перед собой руками; рубаха разодрана, по ногам запекающаяся кровь — насильники долго и дико. Лицо рассечено сабельным ударом поперек, как раз на уровне глаз — из пустых кровавых глазниц торчат кости. А она все воет, булькая кровью, и ищет, ищет, шаря вокруг себя руками. Волк прыгнул сзади, вцепился в шею, кровь хлынула струей. Упала. Набежали вместе: и собаки, и волки. Разорвали! Отмучилась!..

В пепелищах разрушенных, сожженных церковью навалом обгорелых трупов женщин и детей. Бросились на защиту, спасались под богом. Не заступился!.. Не захотел?.. Не смог?..

Вдоль остатков городских стен сотни, тысячи тел русских мужиков с ножами, вилами, косами, цепями в мертвых руках. Все перебиты, изрублены мечами, заколоты копьями, пронизаны стрелами. Русые головы, остекленевшие голубые глаза. Никогда, никогда уже на Руси не будет таких красивых глаз! Васильковых! А у выживших в душах останется, в поколениях, навечно, навсегда, ужас и страх! Века пройдут, а страх останется. И таких русских больше не будет. Будет так: смесь с монголами, скуластые лица, раскосые глаза: хитрые, жадные и ленивые...

Монголы идут!..

Уже города пали перед восточным неизвестным народом, а князья, как будто забыв о Калке, все гадают: может, до нас не дойдут?.. Дойдут!.. С какой-то — сами не веря — легкостью войско Батыево разрушало города русские: Рязань, Суз-

даль, Ростов, Галич, Переславль, Дмитров, Юрьев, другие малые и большие города. Пал Владимир. Походя, между делом, разорен маленький неприметный городок Москва. Правда, дрался пять дней! Знали бы монголы, что сожгли — солью бы посыпали! Чтобы никогда не восстановилась!.. Кто ж думал, что, пусть через столетия, именно отсюда, из этого города, великий сын земли русской — князь Димитрий объединит народ и поведет на Куликово поле, за великой славой поведет...

Простор у монголов: хочешь через Тверь-Торжок, на Новгород, а можно на юг, на Киев!

Вперед, на Новгород!..

Весна упала ранняя, снег оседал, темнел от навозных куч, воронье кружилось и каркало над церквями и Софийским собором, мартовское солнце заходило за Волховом и дальними лесами, недобрый багровым отсветом билось в окна посадника новгородского. Не до тепла, не до весны было посаднику. Знобило, не грела душу легкая, подбитая мехом шуба; свечи плавилась, огонь горел в просторной печи, а холодный пот бежал между лопаток, вниз, по спине, меж ягодиц и ниже, аж в мошонке было сыро. Страх обуял посадника. Вчера прискакал гонец — монголы взяли Тверь и Волок Ламский и подступили к Торжку. Возьмут Торжок — и путь селигерский на Новгород открыт, а ведь Тверь и Торжок владения свои — новгородские. Взывали те о помощи к Новгороду, надеялись. Напрасно. Тут у каждого — своя рубаха... Да, эти города и земли — новгородские, но они-то — там, а душа, жизнь — здесь. Может быть, и выступили бы на защиту — тысяцкий предлагал, да как выступишь, князя-то Ярослава, защитника, днем с огнем не найдешь: пообещал, а сам спрятался в Переяславле-Залесском. А Новгороду оставил двух

своих малых отроков: Александра и Феодора. Защитники?.. Впрочем, Феодор и не защитник вообще. А Александр-то ох как еще молод для битвы с таким врагом!..

В широкую горницу входили епископ, тысяцкий, приглашенные посадские люди, рассаживались по лавкам; в гнетущей тишине слышались только вздохи и скрип дубовых досок.

— Монголы под Торжком! — начал посадник. — Ему не устоять и нам ему не помочь. Помните, мы все вместе решили войско в Тверь не посылать? Тверь пала. И Торжок падет... Видимо, наш черед наступает. Что делать будем?

— Надо в вечевой колокол бить, народ собирать! — рванулся со скамьи тысяцкий: молодой светло-русый великан. — Новгород никогда перед врагом на колени не становился! И сейчас не станет! Лучше умрем со славой, чем с позором!

— А кто ж ту славу будет знать? — тихо сказал старый епископ. — Если на Руси никого не останется.

— Как и кто воевать-то будет? Забыли, какой мор прошел по нашей земле, да и не только по нашей. В Рязани, воц, тридцать тысяч от голода в прошлом годе вымерло, она шесть дней с ворогом билась, да и пала, а у нас народа вымерло — и не сравнить, — поддержал епископа посадник. — Да и дети ярославы у нас. Тут они, рядом, в Детинце спят. Сохранить надо. Александр-то Ярославович далеко пойдет, будет защитником для Святой Руси. Помяните мое слово. Нет, тут что-то надо другое придумать. И откупилась бы, да монгол зол и хитер: вначале дань берет, а потом всех и уничтожает.

— Да откуда же такая напасть на нашу землю? — вскричал тысяцкий.

— Память у тебя, молодого, еще короткая, — заговорил седой, с сабельным рубцом на левой щеке, старшина. — Все забылись? Напомнить?..

— Напомни, напомни им, а то вся Русь без памяти живет! Вот и наступил для всех нас смертный час, — тихо промолвил епископ.

— Откуда они, никто толком не ведает. Говорят, с китайской стороны, с востока пришли, все народы поработили. Зовутся они то ли монголы, то ли татары. Князья у них — ханы, а великий хан — Чингисхан. Четырнадцать лет назад они уже приходили на Русь, до Днепра дошли. Всех князей перебили при Калке-реке. Там был и наш бывший князь Всеволод Мстиславович, с которым, говорят, вместе сражались и новгородские: Александр Попович, витязь известный, Плосконя, хитрован, тот ради наживы пошел и (обратившись к епископу) ваш любимчик — Степка, что ружником у вас служил, — при этом имени глаза епископа блеснули. Старый воин продолжил: — Предателями их тогда посчитали, потому что с Мстиславовичем выгнанным ушли. Да у нас на Руси всегда так: кто не с нами — тот против нас! Говорят, дрались наши смело. Попович татар нарубил — не счесть. Плосконя тоже пал на поле, а ружника Степку изрубили татары, когда он отход князя прикрывал. Князь-то один живой из всех наших, новгородских, и остался. Монголы тогда до Днепра дошли да отвернулись. Почему?.. Никто не ведает. Но Русь провидением Господним была спасена!.. И вот вновь пришли!.. Рать у них несметная: ни конца ни края не видно. Ныне хан у них — Батый. Воины они отменные, все на лошадях. А лошади у них странные: маленькие, коренастые, неприхотливые, едят кору с деревьев — и сыты. Сами — людишки желтые, косоглазые, кривоногие, ходят в шуках, едят конину, пьют молоко от зверя необычного, горбатого, верблюдом называется. В банях не моются. Считают — мыться грех!.. Так что вот такой враг перед Новгородом. А перед нами уже никого и нет. Все разорили: Рязань, Суздаль, Владимир, Белгород. Впереди Торжок — и уже под стенами Новгорода.

Наступила гнетущая тишина. Слышно было, как под полом скребутся мыши. Свечи плавилась; за окном, за лесом, ночь поднималась от земли.

— Народ надо поднимать! — вновь заговорил молодой тысяцкий. — В вечевой колокол бить!

— Тыфу ты! — громко сказал епископ. — Спасать надо Новгород не силою и бахвальством, а умом и хитростью. Ты, посадник, и ты, тысяцкий, пока своих людей отпустите по домам. Да прикажите языки-то за зубами держать. Особенно ты, тысяцкий, попридержи своих молодцев: готовь город к битве, но так — тихо! Людей не буди понапрасну. Не то волноваться начнут, тогда народ не удержим. А мы с посадником поговорим промеж нас: может что-то и придумаем...

Все расходились с тяжестью от услышанного: кто быстро, домой, чтобы семью свою втихаря из города вывезти да спрятать в лесах. Кто побогаче — отправить своих чад и домочадцев на запад, к немцам. Молодые, порывистые, возглавляемые недавно выбранным новым тысяцким, наоборот, уходили степенно, с гордостью, что, возможно, предстоит сеча, где можно силу и храбрость испытать.

Недолго осталось — испытают. Только потом, с князем Александром. Но это — потом.

А сегодня вся Русь — вот она, перед тобой, на ладошке уместится — один Новгород! Правда, еще остался Киев. Да где он, Киев?

В палатах остались двое: посадник и епископ. Сидели молча, понутив седые головы. Думали тяжело.

— Ой, что-то душно мне сегодня и знобит, — начал издалека посадник. — Наверное, заболел... То ли лекаря надо звать, то ли в баню идти...

— Всем сейчас холодно будет, хоть на полог полезь, не спасет, — тихо заговорил епископ. — Не дай-то бог, тысяцкий с молодежью в набатный колокол забьет, тут нам с тобой от своих, новгородских, и достанется. Вспомним тогда кня-

зя Всеволода, да только на своих шкурах. Его выгнали, а нас распнут или в Волхов бросят!

— Это почему? — изумленно уставился на собеседника посадник.

— А потому, — взвился епископ, — что посчитают — это мы предали людей новгородских. Вначале, по мелкому, когда выгоняли князя Всеволода, все же думали — поделом ему; не давали мы ему право на наши свободы новгородские наступать, — мол, твое дело ратное, а в остальном — народ сам решает, сообща. Вроде бы и все правильно. Да не все! Ярослав, вон, выбрали; он к нам детей завез, а сам где? В Переяславле-Залеском укрылся. А нам отвечать и за детей его, и за Новгород.

— Вам-то, отче, перед кем отвечать? Перед Богом?

— Все отвечать будем. Кто перед людьми, кто перед Богом: предательства нам не простят! Тверь, а за ней и Торжок мы врагам на поругание сдадим. Одно спасение на Господа нашего, да на погоду.

— Причем здесь погода-то, отче?

— До седых волос дожил, а все, как юнец — только бы сабелькой махать. Если морозов сильных не будет да еще оттепели пойдут, развезет так, что враг по нашим-то болотам да лесам дремучим и до Руси не дойдет. Но, боюсь, татарина это не остановит, уж больно богат Новгород — второй после Киева, и надо нам что-то важное, но быстрое, предпринять, чтобы он остановился, задумался... И думаю, как бы обмануть татарина, чтобы развернулся и пошел от наших ворот на юг, к Киеву.

— К Киеву?

— А куда еще? Русь на нас да на Киеве с двух концов заканчивается! Хочешь на Новгород? Давай! Может, еще войско предложишь, как наш молодой да ранний тысяцкий, вывести из ворот на врага?.. Вот тоже выбрали тысяцкого на свою голову! Старый-то был — большая умница!

Наступила тишина; в печи трещали дрова, за окном темень, но звезд не видно, а значит на завтра мороза не жди.

— Говори, отче! — тихо сказал посадник и как-то боязливо оглянулся.

— Покаянись, что не сболтнешь раньше времени ни жене своей, ни друзьям, ведь от этого зависит судьба и твоя, и моя, и всего Новгорода!

— Что ты, что ты, клянусь! — зашептал посадник, повернулся к многочисленным иконам и истово закрестился. — Чем прогневал тебя, отче, вместе живот кладем, вместе и отвечаем?

— Вспомнили тут моего ружника Степку, что ратником стал да погиб на Калке-реке. У Поповича да Плоскони семей-то не было: молодые, здоровые, воевать хотелось, вот за князем и увязались. А Степка, который, как тут сказали, «моим любимчиком был», чего за Поповичем и Плосконой увязался и ушел с ними, я по сей день никак в толк не возьму. А зря! Семья осталась: жена, сын да дочь. Жена-то его с дочерью умерли во время мора, а вот сын остался. Василий. У меня он — тоже ружник. Хороший парень, дело свое ценит, все ходы-выходы по земле Новгородской знает, по любой тропке куда хочешь, пройдет. И к грамоте тянется. Но на постриг не пошел — женился. В этом году сына у него сам крестил, так что мне он дорог; сам знаешь — детей у меня нет, вместо сына, думал, будет. Молодой он еще для такого дела, что я задумал, да думаю, другого не пошлешь; считай, на верную смерть посылаем — человек ну-жен надежный...

Долго еще шептались вдвоем; к столу звали — не приходили и далеко за полночь разошлись, еще раз поклявшись, теперь уже на кресте, что тайну разговора сохраняют.

Вернувшись к себе, епископ закрылся в домовой церкви, долго и усердно молился, потом просветленный велел призвать ружника Василия.

В покои к епископу вошел молодой человек лет двадцати, в простой, ладно сидящей одежде, выше среднего роста, крепкий для такого молодого возраста, с широкими плечами; волосы подстрижены в скобку, русые, но с каким-то едва уловимым медным отливом; борода молодая, медно-рыжая; глаза серые и взгляд прямой, независимый, пытливый и умный.

Голосом звонким, но почтительным, молодой человек спросил:

— Звали, отче?

— Подойди ближе, — уставшим голосом сказал епископ. — Поговорить с тобой хочу. Сядь здесь, рядом со мной. Разговор у нас будет долгий и трудный.

Епископ задумчиво посмотрел на молодого человека, а затем спросил:

— Как мой крестник, здоров ли, здорова ли жена твоя?

— Все хорошо, отче. Все здоровы.

— Мы вспомнили тут отца твоего, что пал на реке Калке, в битве с монголами.

— Я его почти не помню. Хотя считаю — он был прав, уйдя с князем, — ратное дело, за землю свою, дороже семьи!

— Да, он был смелым человеком! Не каждый сможет ради князя, выгнанного из города, бросить семью и пойти на ратное дело. Сын мой, я никогда не говорил с тобой о твоём отце, но видит бог, наступило время. Новгород — город славный своими обычаями, свободами, независимостью, но перед ужасающими грядущими событиями нам не устоять. Твой отец, говорят, храбро бился при Калке-реке, спасая Русь. Но этого никто не заметил. Более того, жители Новгорода посчитали всех предателями, кто ушел с изгнанным

князем. Четырнадцать лет назад, когда монголы первый раз пришли на Русь, мы, русские, объединились, но не все. А теперь и того хуже: каждый решил биться сам по себе. И мы, новгородцы — не лучше!.. Они нас уничтожат! Господь дал нам время, чтобы мы уразумели, что предстоит нашему народу. Русь гибнет от нежелания помнить... То, о чем я буду с тобой говорить, должно остаться между нами. Кроме тебя, мне не с кем говорить об этом. У меня нет детей, и ты мне как сын. Просьба моя смертельно опасна, и потому об этом я могу просить только самого близкого и родного мне человека — тебя. Не спеши отвечать, подумай. А сейчас давай сходим в церковь Спаса Преображения, что на Ильинке, поклонимся заступнице новгородской — иконе Знамения Божией Матери. Видимо наступило такое время.

Старый епископ, поддерживаемый молодым человеком, пошел на Ильинку, чтобы попросить защиты у иконы Знамения, как, наверное, почти сто лет назад епископ Иов вот так же просил защитить Новгород от разорения, когда 72 русских князя объединили свои дружины и пошли войной на Новгород... Да не смогли взять стены новгородские — когда Иов икону перед ними поднял; попали стрелой в святой образ и в страхе побежали!..

Епископ и юноша поставили свечи перед святым образом с затянувшейся за столетие раной от стрелы и усердно молились, и били поклоны, и просили дать им силы вытерпеть, если потребуется, все мучения во славу Господа и сохранения любимого города.

Туманным и сырым мартовским утром по дороге от Торжка на Новгород не бежала, еле шла, поскальзываясь, усталая лошадь с таким же усталым путником.

Свистнула стрела. Метко стреляют монголы: пробила стрела правую руку путника, повыше локтя. По коням монголы не стреляют — уважают лошадей.

От боли, от неожиданности путник вскрикнул, лошадь дернулась, вздыбилась, и седок кубарем скатился по ее спине. Упал и затих, потеряв сознание от боли.

На дорогу выскочили три человека в бараньих, с вывернутой наружу шерстью, полушубках.

Не обращая внимания на торчащую из руки стрелу, быстро связали волосяной веревкой пленнику руки за спиной, надели веревку петлей на шею, подняли пленника и, вскочив на лошадей (вместо седел — какие-то накидки), поехали прочь.

Пленник какое-то время бежал, потом заскользил, споткнулся, упал и захрипел, синяя лицом.

Монголы остановились. По-видимому, старший из них, что-то крикнул на непонятном гортанном языке. Желторожий монгол, что помоложе, слез с лошади, подошел к пленнику, пнул зло, растянул петлю на шее, протянул веревку вдоль тела и завел за руки. Еще раз злобно пнул и кривоногого заковылял к своей лошадке.

Тронулись. Больше маленький отряд не останавливался.

Пленника волочили на длинной веревке по скользкой, грязной от навоза дороге.

Монгольский лагерь был огромен: сотни юрт, кибиток, тысячи лошадей, костры, крики, несметное количество одетых в бараньи полушубки и какие-то грязные, засаленные халаты маленьких желтолицых людей.

Но во всем этом человеческом муравейнике чувствовалась какая-то собранность, готовность по первому приказу вскочить на своих коротконогих, с длинными хвостами лошадей и ринуться на врага.

В центре этого кажущегося хаоса стояло несколько больших белых шатров.

Туда и направились монголы. На волочащегося по снегу пленника никто не обращал внимания.

А чего обращать? За последние месяцы были тысячи пленных. И где они? Убиты. Еще один? Эка невидаль.

Пленника притащили к белым шатрам. Один из всадников, в отличие от двух своих спутников имевший некое подобие козлиной бороды, слез с лошади и упал на колени перед вышедшим из шатра монголом в красивом — шелковом, зеленого цвета, с вышитыми драконами — засаленном халате. Не поднимаясь с колен, всадник что-то говорил, указывая на лежащего пленника.

Стоявший над ним монгол, порывшись в многочисленных складках своего халата, достал монету и бросил перед распростертым на грязном навозном снегу воином с козлиной бородой. Тот схватил металлический кружок и, согнувшись до земли, отполз назад и крикнул что-то своим попутчикам. Молодой воин, опять недовольный, слез с лошади, снял веревку с пленника, хотел ударить, но, увидев жесткий взгляд монгола в халате, испугался, быстро вскочил на лошадь и поехал вслед за отъезжающим маленьким отрядом.

Монгол в халате что-то крикнул, и подбежали два крепких воина и, схватив пленника, втащили его в шатер.

Внутри было очень просторно, стены были покрыты коврами. В середине тлел костер, и дым уходил в дырку вверху шатра.

Дальняя от входа часть пола была застелена коврами и подушками. На подушках сидел с подогнутыми под себя ногами старый толстый монгол в красном, расшитом золотыми змеями и драконами шелковом халате. Несмотря на духоту, на голове монгола была лисья шапка с хвостами. Лицо было покрыто мощными, как рубцы, морщинами; глаза — маленькие, желтые смотрели на всех не мигая и зло. Грязными руками он держал большую жирную баранью кость и, чавкая и рыгая, грыз, время от времени вытирая руки о свой халат.

Чуть впереди стояли два монгола в металлических шлемах, длинных кольчугах и с вынутыми саблями — охрана. Сбоку стоял монгол в зеленом халате.

Старик что-то грозно сказал стоящему монголу в зеленом халате. Тот быстро вышел, и слышно было, как он крикнул кому-то громко и требовательно, и вернулся в шатер.

Прошло совсем немного времени, и в шатер не вошел — вполз человек славянской внешности. Он был, по сравнению с монголами, высок, коренаст, но униженно сгорблен, стоял как-то странно — полуприсев. Волосы, абсолютно седые, были перехвачены ремешком. Поперек всего лица проходил ужасный рубец, пересекавший пустую правую глазницу, нос, отчего его нижняя часть как бы нависала над изуродованной губой; левая щека была разорвана этим рубцом на две части. На обеих руках не было больших пальцев. Шею охватывал широкий кожаный ремень с металлическим кольцом. Как у быка в носу. Раб!..

Вторым пришел тоже славянин: огромный, одетый в красную рубаху с закатанными до локтей рукавами. Гигант поклонился и отошел в сторону. На шее был такой же ремень с кольцом. Вошли и стали безмолвно в сторонке еще два вооруженных молодых монгола.

Старик в красном халате что-то скомандовал.

Два воина быстро подскочили к пленнику и подняли его.

Монгол в красном халате заговорил. Звук его голоса был больше похож и на лай собаки, и на шипение змеи.

Славянин с ошейником стал переводить. Толмач.

— Ты кто?.. Куда ехал?.. Зачем?..

Пленник молчал.

— Зачем молчишь?.. Такой молодой... Все равно все скажешь... Говори!

Пленный юноша, опустив глаза, молчал.

— Может, ты немой?.. Так большой Ивашка (старик указал грязным пальцем на гиганта) тебя даже без языка заставит

говорить! Знаешь, кто он?.. Палач! Даже у нас — великих монголов — нет таких искусных палачей!.. Говори!

Пленный, бледный от потери крови, еще больше побелел, пот побежал струйками по грязному лицу. Потом глухо проговорил:

— Я ехал домой в Волочок.

— Врешь! Ты ехал в Новгород... Откуда?.. Отвечай!

— Я ехал в Волочок.

Глаза монгола заиграли бешенством. Он в гневе бросил кость в пленного. Потом прошипел:

— Ифашка!..

Гигант поклонился, подошел к пленнику и, одной рукой обхватив посередине туловища, с легкостью, как бревно, вынес юношу из шатра. За ним выполз переводчик.

Через короткое время абсолютно спокойный гигант внес пленника обратно в шатер и положил на землю. Приполз и переводчик.

Юноша был раздет до пояса. На коже виднелись черные, резко воняющие горелым мясом следы от ожогов. Часть кожи на спине была срезана полосками, которые свисали кровавыми лоскутками. Руки, вывернутые в плечевых суставах, висели вдоль тела. Лицо пытками тронуто не было. Только губы, видимо закусенные во время пытки, распухли от крови.

Гигант помотал головой. Переводчик сказал одно слово: «Молчит!»

В этом слове звучало удивление и уважение.

Старый монгол зло посмотрел на пленника и сказал:

— Молчишь?.. Зачем?.. Ивашка — он сам без языка, но тебе язык развяжет... Говори: куда и откуда ты шел?

Пленник разжал губы и прохрипел:

— В Новгород шел.

— Зачем?

— Я ружник у епископа новгородского...

Переводчик переводил и с каждым словом все более удивленно смотрел на пленника. И не выдержав, сказал сдавленно: «О, Господи!.. Ружник!..»

Старый монгол недовольно взглянул на переводчика и продолжил:

— Зачем шел?.. Откуда шел?.. — и, обратившись к переводчику, спросил: — Сто такое «русник»?

— Ружник — это собиратель податей и милостыни для церкви, — объяснил переводчик.

— У вас, у русских, и так все церкви в золоте, зачем еще милостыню собирать? — спросил монгол. — Он поп, монах?

— Нет, те — служители церкви, а он служит церкви. Церковь-то не всегда была богатой. Сейчас ружник — особо доверенное лицо у епископа, послания относит по епархии, новые земли узнает, все дороги знает.

Монголу стало интересно.

— Все дороги знает?.. Откуда ты шел?

— Я ружник — сборщик милостыни для новгородской епархии. Меня епископ посылал в Торжок.

— Ты был в Торжке? И как Торжок?

— Нет его.

— И где твоя милостыня для вашего русского бога?

— Какая милостыня, если вы все сожгли и разграбили?

— Не сопротивлялись бы — не сожгли. А то две недели сопротивлялись. И что нам оставалось делать — только всех убить! Говори дальше. Как ты собирался попасть в Новгород?

— Не дошел бы я до Новгорода, в Русе бы остановился.

— Хочешь сказать, что дороги на Новгород нет?

— Одинокому да пешему, может, и можно пройти... войску и с лошадьми — нет.

— Ты хитрый не по годам. И врешь не по годам!.. Мы до Новгорода за три дня дойдем!.. Отвечай, зачем шел в Новгород?

— Так я уже говорил: я ружник у епископа. Вот и возвращался, но не смог.

— Врешь, врешь, врешь! — заорал монгол и вскочил на кривые ноги.

Юноша потупился и затих.

— Ифашка!..

Гигант подошел сзади к пленнику и вдруг каким-то резким движением, откуда-то из рукава появившимся ножом, срезал часть кожи с головы пленника, оголив череп.

Пленник даже не закричал. Упал, потеряв сознание.

Монгол что-то резко и зло закричал на палача.

Гигант схватил пленника и вынес из шатра. Слышно стало, как льется вода на тело...

Палач внес юношу обратно в шатер, поставил, придерживая. Тот смотрел на всех мутными и дикими от боли глазами.

— Говори!.. Иначе Ивашка сейчас будет тебе глаза и язык вырезать!

Юноша тихо-тихо прошептал:

— Я все скажу. Я был послан в Переяславль, к князю Андрею, за помощью.

— И что?.. Будет помощь?

— Да.

— Врешь!.. Нет у русских воинов. Мы всех перебили.

— Князь Андрей послал гонцов в Чернигов, Владимир и даже в Киев. Хотят ударить по вам с тыла, когда вы завязнете в бездорожье по пути Новгород. Еды-то у вас нет.

Монгол поменял под собой ногу. Удивленно посмотрел на воина в зеленом халате, покачал головой и что-то ему резко сказал.

— Значит, хотите нам в спину ударить?.. И знаете, что с едой у нас плохо? Только не верю я тебе. Пока князь будет войско собирать, мы уже Новгород возьмем.

— Попробуйте. С войском не дойдете — я-то знаю. Я же ружник.

— Смелый?.. Отдам я тебя Ивашке. Пусть правду из тебя выпытает. Или сам правду скажешь? А может, проведешь в Новгород?

— Убивайте — не пройти! Я все сказал.

Пленник упал без сознания.

— Ифашка!

Палач шагнул к пленнику. Вдруг переводчик упал на колени и быстро, запинаясь, о чем-то стал говорить монголу в красном халате.

Монгол от злости открыл рот (Как раб может говорить без его позволения?!), потом злость на лице сменилась на удивление, и вновь появилось спокойствие и надменность. Он что-то резко сказал. Двое воинов подняли юношу и вынесли его из шатра. За ними выполз на согнутых ногах, переваливаясь, переводчик.

Юношу отнесли через весь лагерь в маленькую юрту, больше похожую на будку, покрытую кусками шкур.

Воины бросили пленника у юрты и ушли.

Переводчик бережно втащил его в свою юрту.

Юрта была такая маленькая, что два человека не смогли бы в ней лечь. Переводчик бережно положил юношу на свою постель из тряпок и шкур, достал кувшин с водой, налил в плошку. Нашел кусок чистой ткани, порвал ее на куски и стал их мочить в воде и аккуратно прикладывать эти куски к ранам на голове и теле юноши. После чего, прикрыв тело тулупом, прошептал: «Мне тебя не спасти. Только Рашид сможет тебе помочь». И выполз из своей маленьенькой юрты...

Вернулся, приведя с собой небольшого худенького человека в чалме и черном халате. У того была с собой переброшенная через плечо сумка, какими пользуются восточные странники.

Пришедший человек говорил на каком-то странном языке, но судя по тому, что славянин-переводчик кивал головой

и что-то отвечал — он его понимал. Это был лекарь в монгольском войске и такой же раб, как седоголовый толмач.

Лекарь осмотрел юношу, потом достал из своей сумки маленький глиняный сосуд и, разжав ножом юноше стиснутые зубы, влил содержимое ему в рот. Тот закашлялся, но проглотил.

Через минуту юноша спал.

Лекарь, обломив торчащий из руки наконечник стрелы, выдернул оставшееся древко. Какими-то ловкими движениями вправил вывернутые плечевые суставы. Снял повязки с головы и тела юноши. Достал из своей сумки мягкую, очень тонкую, неестественно белую ткань, коробочку с каким-то порошком, размешал его с водой в плошке до густой массы и смазал все раны юноши. После чего положил повязки из белой ткани.

Юноша не реагировал, спал.

Лекарь что-то сказал переводчику, оставил мазь, ленты белой ткани и маленький сосуд с жидкостью, от которой юноша заснул, и ушел.

Ночью юноша пришел в себя. Взгляд блуждал, говорил прерывисто, с трудом.

— Где я?..

— Молчи, сынок. Тебе надо отдыхать...

— Где я?.. Кто ты?..

— Я... сынок... Плоскомя, друг твоего отца.

Юноша удивленно, через боль, смотрел на переводчика.

— Да-да, я твой крестный, я тот, который качал тебя на своих коленях, и я тот, кто подбил твоего отца уйти с князем Всеволодом... Какую же беду я принес твоей семье, сынок...

— Да... тебя бог накажет!

— Меня он уже наказал!.. Меня не должно было быть, да твой отец спас меня на Калке-реке. Своей жизнью спас и князя Всеволода спас. А его самого изрубили монголы.

— Почему же ты живой? Вас с тех времен погибшими и предателями считают.

— В плен я попал к монголам. Как выжил от этого удара (показал на лицо), не знаю, но выжил! И зачем — не знаю... Бежал — поймали, били смертно. Еще раз бежал. Поймали. Разрезали пятки, волос вставили — хожу кое-как. Пальцы вот отрубили.

— Повесился бы!

— Где? В степи?.. А потом привык, язык выучил. В этом походе на Русь — толмачом... Убежал бы, да куда и как?.. Да и зачем?.. Меня ведь никто и нигде не ждет.

— А этот изверг, палач?

— Ивашка? Он дружинником был у одного из князей. Тоже в плен попал на Калке. А видишь, кем стал — палачом. Они ему язык вырвали, чтобы во время пыток не говорил с теми, кого пытает... Человек же в муках просит о милосердии...

— Да, просит...

— Ты зачем им врешь про князя Андрея? О силе, против них собираемой... Они всех разбили. Не поверят они тебе... Они никому не верят... Хочешь беду от Новгорода отвести?

Юноша закрыл глаза. Молчал. Дышал тяжело.

— Ты меня не бойся! Зря ты пошел на эти муки... Ты, правда, как отец твой — ружником у епископа?

— Да...

— Женат, Василий? Дети есть?.. Как мать?.. Сестра?..

— Мать и сестра умерли... Голод был... Женат... Детей двое: сын и дочка.

— Господи! Ну зачем ты на это пошел?.. Что же делать?.. Что делать?.. Замучают они тебя... Ивашка разорвет на части.

— Почему они мне не верят?..

— Они не верят даже себе. Такой народ... Да и до Новгорода рукой подать. Правда, дорог нет, да и погода... Давно на Руси не был, но столь ранней весны не помню...

— А почему я здесь, у тебя?

— Я им сказал, что ты быстрее умрешь, чем скажешь. Тем более Иван-палач перестарался... Я им сказал, что тебя надо подлечить...

— Чтобы дальше мучить?

— Это они так должны думать... А у нас с тобой день-два в запасе есть. Все зависит от того, что они решат: повернуть на юг или идти вперед, на Новгород... Им ты не нужен... Тебе чуть лучше станет, и я тебя перетащу... Здесь, недалеко, куда они трупы лошадей сбрасывают. Туда они не сунутся, боятся, там и спрячу... Вместе с ними уйду, а потом вывернусь, я эти места знаю хорошо, с твоим отцом вместе исходили здесь все вдоль и поперек, и приползу. Ходить-то я не могу... Сейчас спи... Выпей вот это зелье. Восточный знахарь, такой же раб, как и я, приготовил.

Юноша выпил лекарство и уснул.

Старый монгол в красном халате собрал совет. Вопрос был один: идти вперед на Новгород или повернуть на юг? Старый воин Сабудай, а это был он — правая рука великого Чингисхана, воспитатель и помощник Батья — был стар и поэтому очень осторожен. Батый, как и его великий дед, полностью доверял Сабудаю и шел позади передового войска. Воины Сабудая, как острие меча, первыми врывались в русские города; резали, грабили, насиловали. Им завидовали — они первыми погибали, но и обрастали награбленным добром: обоз тянулся на несколько верст за войском. Была зима, и не хватало еды. Пленных русских одного за другим

убили — не кормить же. Захваченные русские кони не были столь неприхотливы, как свои, монгольские, — падали от бескормицы сотнями. Войско осаждало Торжок две недели. Потери при взятии Твери и Торжка были бесчисленны. Да и маленький городок — Москва, пять дней дрался. Раненых нечем было лечить, и они умирали, брошенные на снегу. А тут еще эта ранняя оттепель. Дороги развезло. А после Торжка пути и вовсе не стало — вокруг стояли пугающие степных людей непроходимые заснеженные леса. Куда по ним идти? Руку сунуть между деревьями страшно, не то что войти. А тут еще добро в битвах добытое. Его что — бросить? Ропот недовольства стоял в лагере... Знал об этом старый воин. Пресечь? Да чего проще — у десятка-другого голову к пяткам прилюдно подтянуть, чтобы спина лопнула да глаза одни, полные ужаса, живыми остались, и все за счастье посчитают смерть в бою. Но до боя надо пройти всего сотню верст. А как пройти, если дороги нет? Пешком? Мы — монголы — и пешком? Не пойдут, хоть всем головы отруби. А стенобитные машины — их как до стен Новгорода доставить? Новгород не Тверь и не Торжок — стены, говорят, высокие, дружина сильная и население свободолюбивое. Богатый, самый богатый город на Руси. А если этот пленный русский прав в том, что не пройдем по лесам и что войско собирается против нас и ударит в спину? По прямой да по дороге — всего-то три дня пути до Новгорода! Проскочить бы, да как?.. Думай, Сабудай, думай.

Заронил этот русский тень сомнения. Неужели прав? Ивашка перестарался. Странные эти русские: друг друга ненавидят больше, чем врагов. Нет у такого народа будущего...

Совет у монголов — это не выслушивание чьих-то мнений, это выслушивание единственного мнения.

Сабудай ждал ответа от Батые. Сразу после допроса пленника он отправил своего гонца с полученными сведениями к Батыю.

У Батяя тоже было беспокойно на душе. Беспокойство вызывал князь Георгий, который ушел из Владимира раньше, чем город разрушил Батый, и по сведениям собирал войско где-то у реки Сити. А тут еще сведения о Ярославе и огромных потерях при взятии Твери и Торжка. И падеж лошадей от голода, в войске Сабудая. «Скоро без лошадей останемся. Тогда нам конец!» — сообщал Сабудай. И про роптание в войске узнал Батый, и об отсутствии дороги на Новгород узнал. И тоже думал. Но недолго — скор был на решения великий внук великого хана. Решил: «Потерять войско — все потерять! Новгород никуда не денется и сильнее не станет. Может быть, и брать не придется — сами на поклон придут? Леса нам не нужны, нужны еда и золото. Нужен Киев!»

Батый отдал приказание для Сабудая — разворачивать войско на юг... Сабудай приказание получил и мысленно порадовался за своего ученика.

И тут впервые выступил против такого решения один монгол, но какой — племянник самого Чингисхана, сын Оката — Мангу. Он прибыл в войско уже после взятия Торжка и жаждал подвига, славы и добычи. И воины его хотели своей доли добычи. А тут — не будет Новгорода! И добычи не будет!.. И Мангу выступил против!

— Ты, Сабудай — выживший из ума старик и неправ, что поверил этому русскому. Понятно же — тот нарочно попал к нам в плен, чтобы мы повернули от Новгорода. Это предательство!.. Я доложу об этом Батюю!.. — крикнул Мангу.

Не был бы племянником Чингисхана, подумать бы о таких словах не посмел!..

Слушал, слушал старый, «выживший из ума» воин, встал враскорячку с подушек и сказал, как отрезал:

— Это приказ Батяя! С утра в путь! На юг!.. И еще — ты, Мангу, пошел бы по своей воле в такой плен?..

Мангу в злости надулся, но знал — не покорится, можно и в кустах с переломанным позвоночником подышать — жи-

вого волки съедят. «И не такие, как я, погибли», — вспомнил дядю Удегея. Да и не Монголия здесь — Русь. Придется на время покориться... И еще подумал: «А русского надо продолжить допрашивать. Надо доказать, что заслан он к нам новгородцами. Пусть признается в этом, даже если это и не так. Где этот переводчик, что увел его к себе? Так, пусть за русскими сходит Ивашка и приведет их обоих ко мне в шатер. Один вид этого палача любому язык развяжет».

Приказание Ивашке было отдано (благо слышал палач очень хорошо), и тот пошел к известной ему маленькой юрте, находившейся на краю огромного лагеря.

Несмотря на мороз, Ивашка ничего сверху красной рубахи не надевал. Палач. Увидев его, монголы вздрагивали и старались ему дорогу не переходить — к несчастью это.

Огромный, в красной рубахе, с закатанными по локоть рукавами, Ивашка подошел к юрте и стал ее трясти и мычать. Из юрты выполз переводчик Плоскомя.

— Чего ты шумишь, Иван? Зачем пришел?

Ивашка еще громче замычал, показывая рукой в сторону видневшихся вдалеке белых шатров.

— Зовут? Ну пошли.

Ивашка замычал и показал рукой на юрту.

— Что, пленника?

Ивашка, в знак согласия, замотал головой.

— Ты что, Иван? Его же мне отдали, чтобы подлечить.

Ивашка не обратил внимания на сказанное Плоскомя и, нагнувшись, старался заглянуть в юрту.

— Отойди, Иван, не бери грех на душу, его же мне сам Сабудай отдал. Отойди, — сказал Плоскомя и попробовал оттолкнуть Ивашку.

Ивашка толчка даже не заметил и все старался заглянуть в юрту.

— Не гневи Бога, Иван, уходи. Хочешь, я тебе денег дам?

Ивашка выпрямился, презрительно поглядел на Плосконю и оттолкнул его. Плосконя упал на грязный снег. Ивашка повернулся к юрте и начал раздирать ткань. Плосконя (и откуда смелость взялась в столь изувеченном человеке) вскочил и всем телом, со всей силы ударил Ивашку в бок. Удар был столь силен, что Ивашка впервые не устоял и, заскользив ногами по мокрому снегу, упал. Он, как медведь, зарычал, поднялся и, схватив Плосконю поперек туловища, поднял его над головой и бросил на землю. Любой другой человек умер бы от этого удара, но Плосконя вскочил и бросился на Ивашку. Тот одной рукой прижал к себе Плосконю, второй зажал в своем локте его голову и стал ее выворачивать. Дикий рев умирающего зверя разнесся над полем. Глаза Плоскони выползли из орбит, рот открылся в ужасающем крике. Но он вдруг извернулся в этих огромных, сильных, сжимавших, как клещи, руках палача, которые ломали ему позвонки, и уже в последний момент жизни выкинул беспалую руку с зажатым не пальцами — ладонью, откуда-то возникшим острым тонким ножом и вонзил его прямо под левый сосок Ивашки.

Оба упали мертвые...

Еще утреннее мартовское солнце не полностью поднялось от горизонта, а лагерь был готов к движению. Юрты собраны, кони навьючены, сабли на поясе, маленькие щиты и колчаны со стрелами за спинами. Войско было готово. В путь!..

Из белого большого шатра переваливающейся походкой вышел Сабудай. Старики, а на коня вскочил, как мальчик.

Тронулись. Впереди, с боков — охрана. Сзади Мангу со своими людьми, злой.

Сабудай ехал, задумчиво опустив голову. Думал: «Правильно ли я сделал? Может, надо было идти на Новгород?.. Только прикажу — и все войско развернется и вновь пойдет на город... Куда?.. Какой Новгород?.. Дорог нет, все развезло. Погибели захотел?.. Нет, правильно сделал. Да и приказ Батыя. Сам же ему подсказал решение». Помотал, как лошадь, головой и вдруг подсознательно, краешком своего старого глаза, заметил что-то необычное. Остановился, повернул голову и стал внимательно вглядываться в даль, в то, что почему-то встревожило его старые глаза.

Там, вдалеке, стояла маленькая юрта, и около нее что-то необычно краснело — не костер. Чтобы монгол да оставил, да красное? А тут и юрта не собрана. Нехорошо.

Повернул коня и поехал на этот красный неживой огонек.

Перед маленькой юртой, обнявшись, лежали двое мертвых русских: палач Ивашка в красной рубахе, сжимавший огромными ручищами вывернутую седую голову переводчика, и переводчик со сжатым в мертвой беспалой руке ножом, по самую рукоятку вогнанным в грудь гигантского палача.

Сабудай покачал головой: «Станный народ эти русы! Бьются насмерть и с врагами, и сами с собой! И сами себя быстрее уничтожат, чем мы их!»

Посмотрел на маленькую юрту. Вспомнил. Приказал что-то сопровождавшим его воинам. Один соскочил с лошади и вполз в юрту. Через мгновение он за ноги вытащил на снег перевязанного, находящегося без сознания пленника. От боли тот очнулся и открыл глаза. Сабудай беззлобно смотрел на юношу.

«Молодой и сильный! Нам нужны такие воины. Русы хорошо дерутся... Сильные, большие. Хорошие воины и плохие рабы!.. А этот уже не жилец. Ивашка перестарался. Пусть остается... Волки съедят — им тоже есть надо!» И командовал властно и громко: «Не трогайте его! Поехали».

Сабудай повернул коня, спешившийся воин вскочил на свою маленькую лохматую лошадку, и маленький отряд поехал дальше, туда, где из лагеря уже выезжали первые тысячи монгольских воинов...

Монгол в зеленом халате вдруг остановил лошадь, повернул голову и ненавидяще посмотрел на лежащего на снегу пленника; достал саблю, потом выругался, плюнул, вложил саблю в ножны и поехал догонять Сабудая.

Ехал и зло озирался, как будто искал чего-то. Взгляд просветлел, когда увидел воина с козлиной бородой, ехавшего на монгольской лошадке и ведущего за собой явно не монгольского коня. Вспомнил с радостью: «А, это тот, что руса поймал!»

Крикнул ему громко.

Всадник подскакал и, спрыгнув с лошади перед воином в зеленом халате, упал и уткнулся лицом в грязный от навоза сырой снег.

Мангу наклонился в седле и что-то резко и зло стал говорить воину с бородкой.

Тот поднял голову и стал внимательно слушать.

Мангу показал плетью на маленькую юрту. Достал монету из желтого металла, бросил перед распростертым на грязном снегу воином и что-то еще сказал, и провел рукой с плеткой вдоль горла. Потом развернул лошадь и рысью поехал догонять Сабудая. Догнал, что-то тихо сказал одному из своих воинов и тот, развернув коня, поехал назад к маленькой юрте.

Монгол с козлиной бородой схватил монету и стал озиаться — не увидел ли кто? Подумал: «Надо ехать разбираться с русом. Не выполню — он меня казнит!.. Пообещал. Он казнит! Точно! Говорят, он зверь!» Подъехал к маленькой юрте и удивленно стал рассматривать двух мертвых, обнявших друг друга русских. «Снять бы рубаху. Красная. Да такого не сдвинешь. Гора! Если только срезать?»

Увидел лежащего без сознания русского.

«А, это тот — мой пленник. Как его изувечили!.. Не жилец!.. Чего его кончать? Сам помрет».

Залез в юрту.

«Ну, тут поживиться нечем. Беднее, чем у меня».

Вылез. Подошел к русскому. И злость куда-то пропала. Этот юноша столько богатства ему принес: и коня, и деньги. Жалко русского.

«А не сделаю — убьют! Вон же всадник стоит, смотрит. Явно следит за мной. Они же руки о пленных марасть не будут! Надо! И велел же казнить лютой смертью... (Вздыхнул.) Надо!»

Отвязал от седла сплетенные из конского волоса арканы и первым привязал одну ногу пленника к лошади, к русской лошади. Вторым арканом привязал вторую ногу пленника к стоящему рядом дереву. Заполз в юрту, раздул потухший костер и схватил красный уголек. Заскорузлая рука не воина — скотовода — не чувствовала огня... Подойдя к лошади сзади, поднял хвост и сунул уголек ей в зад. Лошадь вздыбилась, лягнула монгола копытом и рванула. Монгол упал мертвый с проломленной грудью.

Юноша пришел в сознание. На секунду. Перед смертью.

Через дикую боль разрываемого тела, последним взглядом выпадающих от брызжущей крови глаз, увидел — уже посмертно — монгольскую конницу, уходящую по грязному мартовскому снегу на юг, туда, к Киеву...

Но впереди был Козельск! Героический русский город!..

Стоящий невдалеке и наблюдавший за всем всадник тронул коня и подъехал. Слез с лошади, подошел к мертвому монголу, порылся в его одежде, достал деньги и сунул себе за щеку. Аккуратно отвязал арканы, скрутил кольцами, привязал лошадей погибшего монгола к своему коню и быстро поехал догонять своих... Ему необыкновенно повезло: и в бою не участвовал, и обогатился сказочно. Можно жениться... Спасибо тебе, монгольский бог!..

В этот день в монгольском войске произошло несчастье: при переходе через лес свистнула стрела и пробила насквозь шею монгола в засаленном зеленом халате, расписанном золотыми драконами. Он захрипел, пустил кровавые пузыри, да и сдох на месте...

Через неделю, когда известие об уходе монгольского войска достигло Великого Новгорода, забили празднично колокола на многочисленных церквях и Софийском соборе. И в вечевой колокол на радостях бухнули. Народ высыпал на улицы, стал от радости плакать и целоваться. Праздник был в каждом доме, в каждой семье. Толпами шли на Ильинку. Вновь спасла город святая защитница Новгорода, почитаемая всем народом, икона Знамения Божией Матери. И вынесли ее из церкви на Ильинке, и понесли по городу, и падал народ на колени перед изувеченным образом, и плакал от счастья и радости... Спасительница, заступница!..

Епископ болел: грудь боль сдавила, дышать мешала, но ради такой всенародной радости оделся, хотя и пост, в рясу праздничную и отслужил молебен.

А потом, уйдя в свои палаты, попросил привести к нему жену ружника Василия.

Начал издалека: о радости, о Боге, о великом подвиге людей русских.

Слушала женщина молча, склонив голову. Муж-то, как тогда, рано утром ушел, поцеловав ее и спящих еще детей, так и пропал. Нет от него, любимого, весточки.

— Я хочу тебе рассказать, кому мы обязаны спасением нашего города!.. — произнес тихо, но торжественно епископ.

Дикая боль разорвала его грудь и он, захрипев, посинел и умер...

Падение

Болен был царь Иван, с детства сиротского болен. Ненавидел всех, боялся всех, убивал всех, кого считал своими врагами, а врагами становились все, даже ближайшие друзья, даже любимые — каждому свое время. Параноик и шизофреник был Иван Васильевич, царь московский. Любит народ русский, чтобы правил им человек, отличный от простых смертных. И эти ненормальные государи остались в истории страны, в памяти народной, самыми великими, самыми справедливыми, самыми умными...

Наставлял государь своего первейшего сподвижника, Григория Скуратова, прозванного за малый рост Малютой:

— Ты, Гришка, пойдешь вперед с передовым отрядом. По дороге заедешь в Отрочий монастырь, где Филиппка сидит, еще раз спросишь его от моего имени о поддержке нашего похода на Новгород. Сразу предупреди, что это мое последнее обращение к нему... Если откажется... сам знаешь, что с ним делать. Дальше, не останавливаясь, сразу скачи на Новгород; Тверь и Торжок я сам усмирю, ты должен захватить их новгородскую святыню — икону Знамения Божией Матери. Она у них раньше на Ильинке стояла, в церкви Спаса Преображения, а они, за ее заступническую святость, для нее построили отдельную церковь — Знамения Пресвятой Богородицы. Лишим Новгород этой иконы — и не быть против нас бунту...

Митрополит Московский Филипп, друг царя с детства, был задушен самолично Григорием Лукьяновичем Скуратовым-Бельским, или по-простому Малютой, в декабре 1569 года, за отказ благословить поход царя Ивана Васильевича на Великий Новгород... И для друзей время приходит. Болен был царь Иван Васильевич...

Морозным январским утром царь московский Иван во главе своего войска — опричников и бедных людей, больше похожих на рабов, которым главное — пограбить, вошел в Великий Новгород. Город не сопротивлялся. Тишина страха встретила царя, колокола молчали, граждане в ужасе попрятались по домам и подвалам, церкви закрыли ворота, монахи на коленях пели псалмы не во здравие — за упокой. Все понимали — не с праздником пришел грозный царь московский, со смертью, как завоеватель, разрушитель последних вольностей новгородских. Грабить и убивать пришел!..

Царь восседал на привозном троне, больше похожем на стул заморский с высокой спинкой.

— Ну, говори, Малюта, что Филиппка сказал?

— Просил передать тебе, чтобы ты одумался, о Боге вспоминал, потом перекрестил и... задохнулся... Сам...

— Сам?

— Сам.

— Эх, Филиппка, Филиппка, служил бы мне — жив бы был. Жаль. Ладно. Что с иконой?

— Трудно было, саблями махали, головы рубили, а они — монахи да новгородцы — стоят на коленях перед иконой и поют. Порубили их не счесть.

— Не тяни — где икона?

— Здесь. Прикажи — принесут.

— Ты, Малюта — преданный дурак. Неси скорей!

Скуратов крикнул за дверь, и в покои царя Лешка Басманов с сыном Федором внесли древнюю икону, что столетиями охраняла и защищала Новгород. Царь упал перед иконой на колени, стал бить поклоны, целовать и что-то бессвязно говорить. Потом упал на пол, растянулся и затих. Зная припадку царя, все молча стояли. Ждали, когда придет в себя.

Иван Васильевич отошел, поднялся, мутно посмотрел на всех и сказал одно слово: «Вон!»

До следующего утра никого к себе не допускал: не ел, не пил — молился. У царя всегда так было: поубивает народу — на молитву; соберется людей убивать — усердно молится. А то вообще сбежит от народа в монастырь каяться за грехи свои, и бегут бояре да народ к нему на поклон — вернись, царь-батюшка, это не ты, это мы — грешные, а ты — святой! Рабская страна Русь-Россия!..

На следующий день, одухотворенный от молитвы и от обладания великой иконой, царь приказал привести к нему знаменитых посадских людей и духовенство, часть из которых уже были закованы в железо. Начал строго, голосом зычным:

— Ну, что, скоты, кончилась ваша вольница! Вы, изменники, захотели отдать шведам и королю литовскому, с которыми я двадцать пять лет воюю, земли наши? Как же мне их победить, когда такие, как вы, нож мне в спину втыкаете? И еще, знаю я, вы замыслили, договорившись с моими московскими боярами, меня извести. Вы мне за все ответите!

— Государь! Это же ложь! Никогда Новгород не выступал против тебя, против Москвы. Это русская земля, и живут здесь русские люди. Мы всегда за дружбу с Москвой.

— Это кто тут каркает? Ты, Пимен? Ты для меня еретик! Я жало-то у тебя вырвал — вот она, икона ваша, Знамения! Вот она! — и царь сдернул кусок ткани со стоящей в углу иконы. Все ахнули. Духовенство новгородское упало на колени. Царь, обрадованный, продолжил: — Ну, что — кончилась ваша защита? Вот возьму сейчас и прикажу вашу защитницу изрубить или сжечь.

Духовенство воздело руки и взвыло:

— Что ты хочешь, государь? Проси, мы все сделаем.

— Я — просить? Да вы белены объелись! Я — просить? Я сейчас вам покажу, как я умею просить. Эй, Басмановы,

в подвал их! И дыбу установите. Да пусть палач Милька готовится! Вон!..

Вошли Басмановы, отец с сыном, и опричники. Всем: и духовенству, и посадским людям скрутили за спиной руки и увели в холодный подвал.

Царь дождался, когда вернутся его любимцы Басмановы, и вместе с Малютой устроил совет. Выслушал молча всех: их жалобы и обиды на новгородцев, о стремлении и опричников, и приведенных с собой ратников пограбить город. Сам разговаривал недолго. Решение принял, как отрезал: «Грабьте и убивайте! Десятая часть награбленного — вам, остальное в мою казну. Кто мое украдет — умрет! Жуткой смертью умрет!»

И началось! Не слезами — кровью умылся город. Кровь ручьями стекала в Волхов. А Волхов наполнился трупами. Так, забавы ради, привязывали младенцев к матерям и сбрасывали с моста в незамерзшую воду. В реке от трупов стало тесно. На всех стенах Кремля вытянули столбы и вешали людей десятками — как грозди виноградные висели: мужчины, женщины, старики, старухи. Детям головы разбивали металлическими шишаками — кто больше разобьет!.. Везде трупы, трупы, кровь, кровь!.. Насытиться не могли... Телеги набивались краденым. Басмановы строго следили. Несколько десятков людишек за воровство, за утайку, которой, может быть, и не было, казнили на месте: руки отрубали и бросали умирать в переполненный трупами ров. Порядок восстановили быстро — грабители, увидев такое зверство по отношению к ним самим, готовы были свою долю отдать. Ограбили Торг, ограбили Святую Софию — все иконы вынесли, позолоту саблями и ножами соскребали. Готовы были сорвать золото с купола, — полезли несколько человек, да пьяные от сивухи и крови сорвались и разбились насмерть. Другие побоялись...

Уже третью неделю шли в Новгороде грабежи и убийства. Прорубь, что не замерзает под мостом через Волхов, за-

билась трупами, да так, что верхние мертвецы стояли на нижних, наполовину торча замерзшими из воды. И лед на реке, и снег в городе были красными от крови.

Царь усердно молился на икону Знамения — чувствовал, как силы она ему прибавляла. Мало ел, мало пил — пост давно кончился, уж Рождество прошло, январь студеный на дворе, а он все убивает да молится.

В такой вот день молитвенный вошел тихо в покои к царю князь Афанасий Вяземский, опричник. Царь стоял на коленях и бил поклоны. Афонька переминался с ноги на ногу у дверей — молчал и ждал.

— Ты, что это, Афонька, себе позволяешь — не по чину к царю вваливаться? Хоть и люб ты мне, но прикажу — быстро на кол сядешь, — сказал глухо и раздраженно царь Иван.

— Позволь сказать, государь, — дело неотложное.

— Какое еще может быть дело? Не видишь — я молюсь иконе святой!

— Дело касается этой иконы, государь.

— Что? — царь резко повернулся к Вяземскому. — Говори!

— Пытал я церковных людей, чтобы рассказали, как хотели литовскому королю продаться да тебя, государь, извести; кто кричит, кто сразу измену признает, Пимен молчит...

— Я и без тебя это знаю. Докладчиков хватает. Ты для этого пришел? Или про икону скажешь?

— Про икону, государь. Дьякон церкви Спаса Преображения, что на Ильинке, под пыткой сказал, что перед нашим приходом в Новгород ночью в его церковь тайно приходил сам Пимен и усердно молился на пустое место, где ранее стояла икона Знамения. Потом он ушел в церковь Знамения Святой Богородицы. А он — дьяк — проследил...

— И что? И чего тут необычного? Можно подумать, Пимен не знал, что мы идем на Новгород? Дураки, что сопротивление не оказали — хрен бы вы взяли Новгород, вояки-то вы еще

те. Только грабить да от государя уворованное прятать! Разогнать бы вас надо — ошибся я. Вот возьму эту икону и уйду от вас от всех в монастырь... Говори дальше.

— Тот дьяк проследил за Пименом. В церковь Знамения он попасть не смог, но сказал, что около церкви Пимена ждал какой-то человек и они вдвоем вошли в церковь; через час Пимен с тем человеком вышел, у того человека была завернутая в мешковину доска; похоже — икона.

— И что? — уже заинтересованно спросил царь.

— Этот дьяк просит разрешения посмотреть на икону Знамения, что у вас, государь.

— Отрубите ему голову!

— Мы так и хотели сделать, а он крикнул, что не настоящая у вас икона — список!

— Что? — царь быстро подбежал к Вяземскому и схватил его за лицо жесткими пальцами, аж ногти в кожу щек впились. — Что?.. Ненстоящая?.. Список?.. Да в уме ли ты — такое говорить? На кол и его, и тебя! Эй, люди, сюда! — изо рта у царя пузырилась пена, вот-вот опять упадет в припадке.

Вяземский упал на колени.

— Государь! — завопил. — Потому и прибежал сам к тебе, не Скуратову с Басмановыми наперед сказал о вести этой, такой дикой — ну а вдруг монах-то прав? — И тихо-тихо, так, что царь не услышал: — И значит, Григорий Лукьяныч тебя обманул. — И сам испугался таким словам, а может, и не словам, а мыслям.

Царь остановил дикий взгляд на Вяземском и, сев в свое кресло, наклонившись вперед, оперся на посох, чтобы не упасть, сказал тихо:

— Тащи сюда дьяка, но если тот соврал, то ты раньше него на кол сядешь. Плахи не жди — не заслужил!

— Хорошо, государь. Но ведь если подтвердится, что эта икона настоящая, то это же праздник!

— А если ненастоящая?.. То тебе же хуже! Дьяк-то, он так и так на плаху ляжет, а вот ты лютой смертью помрешь!.. На колу!.. Пошел!..

Вяземский на подогнутых от страха ногах выскочил от царя и побежал туда, вниз, откуда непрерывно неслись дикие крики истязаемых людей. Бежал и думал: «У-у-у! Нечистый под руку толкнул. Надо же было так, из-за какого-то дьяка, голову сложить. А все хотел Басмановых подставить. Подставил? (Вяземский уже три телеги награбленного тайком, ночами, отправил домой, на Москву.) И кому это все достанется — царю? Не только это добро — все!»

Государь себе в казну у убиенных им все забирал, а семьи или под топор, или, если сам в добром здравии был и милостив, то в ссылку — но это редко. «То-то Басмановы будут рады моей гибели, особенно сыночек, Федька — любовник царя. Ненавидит он меня, за род мой княжеский ненавидит... И боится, что царь меня может выбрать для своих утех вместо него... Чем я хуже?..» Бежал Вяземский, а из задницы сама по себе, от страха, кровь капала...

В покои к царю втокнули маленького тщедушного человека, полуголового, с обожженным лицом и покрытыми волдырями телом. Это палач Милька парил горящим веником. Это еще не пытка, это так — баловство. А смотри-ка — уже не выдержал. Дьяк, увидев царя, упал на каменный пол и не поднимал головы.

— Чего разлегся? Я тебя к себе в гости не звал — сам напросился. Говори, что знаешь об иконе?

Дьяк поднял голову и, разлепив сухие, запекшиеся от крови губы, проговорил:

— Мне бы государь, на икону взглянуть.

— А ты знаешь, что с тобой будет, если насчет иконы соврал?

— Мне бы только взглянуть.

— Смотри! — царь показал на стоящую в углу икону. — Смотри, да не ослепни раньше времени.

— Можно, государь, ближе подойти?

— Подойди, а ты, Афонька, (обратился к Вяземскому) рядом с ним стань. Не ровен час, может, какое зло задумал иконе нанести. Саблю-то вынь, дурак.

Дьяк подполз к иконе, долго смотрел, аж принохивался.

— Можно, государь, ее сзади посмотреть?

— Афоня, возьми икону и покажи, а то он своими погаными руками, не дай бог, замазает пречистый образ.

Вяземский взял бережно икону и повернул.

— Список! — крикнул дьякон, вскочил и стремительно отскочил от иконы. Вытаращил глаза, вновь крикнул: — Список! — И упал на пол.

— А ты, дьяк, в уме ли, не в сговоре ли ты с Пименом? Эй, зовите сюда Мильку со всем его железом пыточным. Чувствуешь, дьяк, что сейчас с тобой будет — не веником, каленым железом тебя сейчас ласкать будут! Ты мне все расскажешь, даже то, что не знаешь и не видел!..

— Я все расскажу государь! Все!

— Говори, пока Милька не пришел, с чего ты решил, что это список? Ты, что — разбираешься в иконах?

— Государь, я учился иконописи в Троице. Я даже список делал с самой «Спас в силах» во Владимире. А сюда сослали за воровство.

— Так ты еще и вор? Говори дальше.

— Я настоящую икону Знамения знаю. Ей четыреста лет. Она в церкви Спаса Преображения на Ильинской улице находилась, в которой я сейчас служу, а двести лет назад ее в построенный храм Знамения Пресвятой Богородицы перенесли...

— Заткнись. Я это и без тебя знаю. Время тянешь? Эй, Милька, — обратился царь к вошедшему гиганту-палачу, — начинай.

— Государь, я это к тому, что в мою церковь народ перестал ходить, и она совсем захирела, стала самой бедной в Новгороде. И все из-за одной иконы. Поэтому я в храм Зна-

меня часто ходил, смотрел на нее. Я ее выучил. Я ее знаю. Я даже, когда никто не видел, сзади ее смотрел. Эта (показал на икону) — очень хороший список. Но срочно ее писали. Доска свежая. Для старения в масле выдержали и над медленным огнем держали, и на настоящей иконе рана от стрелы совсем затянулась, а здесь — насквозь. Хотя списана чудно. Великий мастер ее делал. Но это список, государь! Ей не четыреста лет — намного меньше.

— Врешь!.. С Пименом заодно!.. — Голова царя затряслась, пена поползла изо рта. — Милька, давай!..

Палач легко, как пушинку, повернул дьяка на спину, наступил коленом на грудь так, что у дьяка вылез язык, схватил и, вытянув руку дьяка, зажал клещами палец и откусил; нарочно медленно, тяжело, с хрустом оторвал, чтобы больнее было. Дьяк зашелся кровавой пеной, хрипел, пока Милька не снял ногу с груди.

— А теперь рассказывай, — спокойным голосом сказал царь. Он всегда, глядя на пытки, успокаивался. — И все о Пимене. И не ври, что ты не знаешь того человека, с которым Пимен в храм за иконой приходил. Все рассказывай.

— Я уже рассказывал твоему, — мотнул дьяк головой в сторону Вяземского и, зажимая культию пальца, плача и охая, продолжил: — Как Пимен приходил в церковь на Ильинке и молился на пустое место, где когда-то икона стояла. Потом он пошел к храму Знамения — а я проследил; там он встретился с каким-то человеком и с ним уже вошел в церковь. Я в нее попасть не смог. Вышли они вдвоем. У незнакомца с собой была завернутая в ткань доска, как раз размером с икону Знамения. Пимен перекрестил его, поцеловал, и тот ушел. И Пимен ушел. Вот все, что я знаю, государь... Ой, рученька моя! О... ой!..

— Нет, не все. Кто был тот вор, что с иконой ушел? И не ври! Чтобы у Пимена, епископа, много людей было, которым он мог бы так доверять? И явно, что он ваш — церковный. Вспоминай!.. Милька!..

— Не надо, государь, я вспомнил. Я его, кажется, когда-то видел, — он, вроде, ружником у Пимена служит? Точно, точно, государь — ружник он.

— Как его зовут? Где этот ружник пименский живет, знаешь?

— Нет, государь.

— Врешь! Впрочем, нет и нет! Сейчас вспомнишь. Милька!..

Гигант одним ударом свалил дьяка на пол и ударил ногой в грудь. Тот захрипел, выпучил глаза, изо рта полилась кровь, и он, протяжно свистнув, умер.

— Ты, Милька, всегда все испортишь. Руки бы тебе выдернуть, да уж больно они нужны. Унесите его и уберите здесь, — крикнул царь. — Афоня, ты все слышал? Я пойду поговорю с Пименом. Икону, Афоня, возьми и иди за мной. Милька, пошли.

Царь раздраженно взглянул на икону, взял длинный с острым концом посох и пошел из покоев, брезгливо перешагнув лужу крови, вытекающую из-под распростертого на полу мертвого дьяка... Посох царя, с особым концом — закованной в железо острой слоновой костью, стучал по каменным ступеням. Всякий, услышавший этот звук, понимал — царь идет! Не по мою ли душу?..

Пимен, весь белый, висел на дыбе, на вывернутых руках. Голова была опущена, слипшиеся длинные седые волосы свисали, борода, как и лицо, были сожжены. Милька облил епископа водой, тот застонал, Милька схватил Пимена за волосы и поднял голову. Перед епископом стоял царь Иван.

— Ну, еще раз здравствуй, Пимен. Вроде как, давненько не виделись. Ты все еще живой? Ты-то, может, и не хотел меня видеть, да я сам пришел, чтобы взглянуть на тебя да спросить, как ты хотел перекинуться к врагу моему злейшему, королю литовскому, да вместе с моими московскими боярами меня же и извести? Который уж раз тебя спрашивают? Молчишь?.. Может, мне расскажешь?..

— Не было этого, государь, — прошептал Пимен.

— Не ври, предатель, — заорал царь и ткнул острым концом посоха подвешенного на дыбе епископа в грудь.

Пимен застонал и снова тихо с трудом прошептал:

— Не было предательства, государь. Обманули тебя.

— Врешь, сволочь! — царь ударил посохом по голове епископа. — Ты такой же лжец, как Филиппка! Да тот уже в аду. Ну, с предательством все ясно, а вот ты мне скажи, где икона Знамения?..

При этих словах Пимен вздрогнул.

— А-а! Все-таки прав оказался дьяк. Говори, где икона?

— Не ведаю, о чем ты, государь.

— Ах, ты, гад! — царь Иван схватил посох обеими руками и в бешенстве стал бить Пимена по голове. — Говори, говори, говори! — кричал он с пеной у рта и бил, бил, бил...

— Государь, он мертв! — сказал, обняв царя за плечи, Малюта Скуратов. — Остановись, государь.

Иван дико посмотрел на разбитую голову Пимена, стекающие мозги и кровь, поднял за волосы голову и, плюнув в обезображенное лицо, пошел к выходу, повернулся и крикнул:

— Найдите мне икону! Не найдете — пойдете все вслед за Пименом! (Показал перстом на Вяземского.) Афонька, пока еще на кол не сел, вам все расскажет. Смотрите — и сами сядете! И в первую очередь, ты — Малюта, за то, что список мне принес.

Малюта посмотрел удивленно на Басмановых — те непонимающе пожали плечами. Афанасий Вяземский был здесь же и стоял, опустив голову. Царь, тяжело, шаркая ногами и стуча посохом, вышел.

— Ну, Афонька, — зашипел Малюта, — рассказывай, «пока на кол не сел». Сука, что это произошло с иконой, которую я с боем добыл для государя?

— Я, Григорий Лукьяныч, по твоему указанию пытал дьяков и подьячих, и один из них, из церкви на Ильинке,

под пыткой рассказал, что видел, как Пимен приходил ночью к нему в церковь, молился на пустое место, где когда-то стояла икона Знамения, а потом он пошел в церковь Знамения Святой Богородицы, где его ждал какой-то человек; они вошли в церковь и оттуда вынесли завернутую икону, и тот человек после благословения Пимена унес ее. Дьяк этот ранее был иконописцем, и когда царь разрешил ему посмотреть икону, сразу определил, что это не настоящая икона, а список. Государь рассвирепел и приказал Мильке пытать дьяка. Ну, Милька и перестарался. (Эти слова Вяземский произнес тихо, озираясь на занятого своим делом палача.) Перед смертью дьяк сказал, что ранее видел человека, унесшего икону, — тот когда-то приходил в церковь Знамения с Пименом. И служит он у Пимена ружником. Царь пошел пытать Пимена, а дальше вы все знаете.

— Ах, ты, сука, князек — решил выслужиться? Ну так сядь на кол!.. А мы поможем. Сука! — сказал Малюта. — Поможем, Басмановы?

— Поможем, — закивали головами отец и сын. — Можно сейчас и здесь.

— Не губите! Все, что прикажете, сделаю! — упал на колени Вяземский.

— Сделаешь. Еще как сделаешь. Там у тебя живые дьяки остались?

— Да, некоторые еще живы.

— Значит должен быть дьяк, который ночью видел Пимена с незнакомцем, когда они приходили в церковь Знамения за иконой. Вот он-то нам все и расскажет. И всех церковных крыс из этой церкви отыскать и притащить сюда в подвал, — приказал Малюта.

— И что нам это даст? Вор-то тот вряд ли в городе. Сбежал и икону унес. Гад ты, князек. Была у нашего государя икона, а ты взял и отобрал ее. Ну, доска и доска — какая разница, которая из них старее. Удивляюсь, что он тебя тог-

да же, на месте и не убил. А надо было! Меньше бы стало вас — князьков, — сказал старший Басманов.

— Не богохульствуй! Ты еще при государе такое скажи. Род ваш, басмановский, татарский на этом и закончится. Все! За дело. Чего стоишь, Афоня?.. Бегом!.. — заорал Малюта.

Вяземский заскользил ногами по крови на полу и выско-чил из подвала.

— А вы, отец и сын, идите и проследите, чтобы этот «преданный дурак» еще чего-нибудь против нас не натворил. И сразу тащите нужных дьяков и подъячих сюда, к Мильке. Я здесь буду. Не Афонька — мы первыми должны найти икону. Тогда Афоню государь нам отдаст на растерзание. И поделом ему...

Искать долго и не пришлось. Церковные люди клялись крестом, жизнью, детьми, выгибаясь на дыбе, заливаясь кровью от раскаленного железа, от плетей с вплетенным свинцом, горящих веников и красных, жарких углей; орали, рыдали, смеялись, сходили с ума. Милька трудился, не зная усталости, черный от копоти пот капал с радостного лица и бежал по голому телу за кожаный фартук. Быстро, под пыткой, нашли дьяка, который в ту ночь двери в церкви Знамения открывал Пимену и незнакомцу. И про икону узнали. Епископ Пимен, когда пришел в церковь Знамения, дьяка отправил к себе домой сообщить, что задерживается. Видимо, в это время и была произведена подмена. Когда смогли написать подложную икону, дьяку неизвестно — икону из церкви выносили только во время великих событий, с 1170 года от Рождества Христова, когда она своим образом отвела беду от города, всего несколько раз. Последний — в 1356 году, когда ее переносили из церкви на Ильинке в специально построенный

храм Знамения Святой Богородицы, откуда она не выносилась ни разу... «Нет, вспомнил, только не жгите, выносилась!.. Три года назад, когда чуть весь город от пожара не выгорел, и еще год назад, когда страшный мор в Новгороде был. По городу ее носили. Тогда и пожар стих, и мор прекратился», — орал, извиваясь от боли, монах. И выяснилось, что человек, приходивший ночью в церковь с Пименом, — его ружник Андрей. Живет он где-то за Торгом.

Все стало ясно. В розыск вора пименского послали Афоньку Вяземского с опричниками, а на двор, за домашними Пимена, младшего Басманова — Федьку.

Матушка епископа Пимена, как узнала, что муж ее умер в муках, упала, дико закричав, да и лишилась рассудка. Как откачали водой, увидели — перекосило, руки-ноги поднять не может, рот скривился, только мычит да пузыри пускает. Пришлось опричникам придушить ее подушками, чтобы вроде как не мучилась и не мешала своими бессвязными стонами розыск вести. Опричники в зверствах над людьми от палача Мильки не сильно отличались. Через балку веревку перебросили — вот тебе и дыба, а железо — та же кочерга, в доме всегда найдется, веники принесли. В печь побольше дров набросали, аж загудело в трубе, — все, пыточная готова. Ну и полилась кровь. И выяснили, что года три назад, в доме, в комнате, что за покоями епископа, находилась несколько дней икона Знамения. Подсмотрели домочадцы. Это как раз в год великого пожара было. И еще, под пытками же, выяснилось, что в это же время у епископа тайно проживал какой-то монах: из дома и на люди он не выходил, жил там же, за покоями епископа. Дней десять-пятнадцать жил, а потом его не стало. В ночь перед приходом царя в город Пимен из дома завернутую в ткань доску выносил, может, и икону. Другие иконы тоже иногда, по праздникам, из дома выносились и обратно приносились. Обыденное дело. Так что, какую икону выносил Пимен, сказать не смог-

ли. Но свои, домашние иконы все на месте, и иконы Знамения (свят, свят!) среди них нет. Кто такой ружник Андрей? Так это из рода тех ружников, которые, говорят, помогли отвести Батыево нашествие от Новгорода. Но это сказка. Они скрытные, не выставляются, исполняют приказания только самого Пимена и ездят на север, за Двину, за Печору, аж в Мангазею златокипящую.

Служку нашли, который знал, где живет ружник Андрей. Тот побежал дом показывать Вяземскому. А остальных всех домочадцев убили. И все из дома епископа вынесли и на телеги погрузили. Федька Басманов, как все опричники, честно не отличался (за добродетель считалось у опричников воровство и убийство) и найденные деньги, жемчуга, кольца, браслеты, серьги себе в мошну положил, не побрезговал и с покойников снять, а кольца и браслеты, которые не снимались, пришлось с помощью сабли и ножа отсекать еще с живых. А двор пименовский подожгли вместе с мертвыми и еще живыми. Любили опричники страх на людей наводить...

Дом ружника Андрея искать долго не пришлось. Небольшой, но крепкий, с забором, воротами и собаками. Не стучали — через забор перемахнули, собак порубили, ворота открыли, через которые на коне въехал князь Афанасий Вяземский, и в дом ворвались. Вышедшего к ним хозяина дома Андрея по прозвищу, присвоенному за многовековую службу церкви, — «Ружник», сбили с ног, руки за спиной скрутили. Жена бросилась к мужу, а Вяземский (вот дурак) вместо руки по привычке нож выставил, женщина и напоролась прямо левым соском — охнула и умерла на месте.

— Ну, вор, показывай, которая здесь икона Знамения? — заорал Вяземский, подняв за седые волосы голову хозяина дома.

То был мужчина в летах, крепкий в теле и, по твердому взгляду серых глаз, сильный духом.

— Это ты, убивец, называешь меня вором? — крикнул тот и плюнул в лицо Вяземскому. — Сгоришь ты в геенне огненной, хриstopродавец, иуда. А больше я тебе ничего не скажу. Пытай! — Глаза мужчины увлажнились, глядя на распростертое тело мертвой жены.

Пытки были ужасны! Пытали раскаленным железом, резали кусками кожу, рвали ногти и пальцы. Андрей Ружник молчал и так и умер под пытками, не проронив ни слова. Взялись за челядь домашнюю. Увидев изуродованный труп хозяина и мертвую хозяйку, те завывали, запричитали, попадали на колени, крестились в ужасе. Под пытками домашние показали: в доме отродясь такой великой иконы не было — вот все в углу. Да, хозяин приходил с какой-то завернутой иконой где-то за день до приезда в город царя. Сын хозяина — Петр тогда же ночью приходил, они о чем-то говорили, о чем — не ведают. Сын завернутую доску и унес. Сын живет отдельно, своей семьей, через три дома отсюда. Тоже ружник. Вместе с отцом ездит на север. Больше они ничего не знают.

Вяземский приказал всю челядь убить. Из дома вынесли все ценное, что нашли, включая иконы. Найденное золото, серебро, жемчуг Афоня взял себе. Вор — он и есть вор. Опричник!..

Ринулись в дом сына Андрея Ружника, Петра. Дом пустой, холодный, одни замерзшие тараканы на полу. На дворе ни соба, ни лошадей. Ушел, сволочь! Ушел!.. Все, Афонька, можешь ноги раздвигать, сраное свое место для кола готовить. Царь шутить не любит. Не зря «Грозным» в народе прозывается!.. Бросились в погоню, даже дом запалить не успели, да где искать-то? Он же ружник — все тропки знает аж до Печоры-реки. Может, схоронился где-нибудь в избе, в лесу, рядом с городом, да где? Ищи!.. Но погоню Малюта послал... Вяземского Афанасия. Рад тот был без меры — лютой смерти избежал. У царя-то он в любимчиках, наравне с Басмановыми. А царь к любимчикам отходчив. Так ему казалось...

Гроза сгущалась над Новгородом. Остаткам вольностей многовековых приходил конец. Царь Иван, утопив в крови Русь, разделил государство на свою, царскую землю — опричнину и остальную — земство, войско опричное создал, больше похожее на разбойников. Бесславно воюя десятилетиями в ливонской войне, понимал, что его царству вот-вот придет конец и никакие жестокости, страх, опричники не спасут. Причина — нет денег! Казна пуста!.. Тогда-то и возник в больной голове царя образ всеобщего обмана, измены к нему со стороны Новгорода и Пскова. Вроде и города русские, да не такие, — под монголами не были и не знали столетнего ига, и рабства не знали. И богатыми были. Торговля — не война! Да тут еще свои, московские, бояре зашушукались недовольные. Измена!.. Вокруг измена!.. Собрал царь в Александровской слободе войско и повел на Новгород. Главное — казну восстановить и вольность в крови утопить. Шел, всех уничтожая на своем пути: Клин, Тверь, Торжок, Вышний Волочок в крови утопил. Убивал сумасшедший царь русских людей, чтобы до Новгорода весть о его походе не дошла. «Люди, как трава, падали». А все имущество убитых себе в Москву, в казну отправлял. Богател на убийствах царь московский.

За несколько лет до похода на Великий Новгород сказал как-то царь Иван Васильевич, что хотел бы иметь при себе святыню новгородскую — икону Знамения Божией Матери. Те слова дошли до епископа Новгородского Пимена, и тот понял, что за словами скоро наступит дело. Тогда, после пожара, икона несколько дней находилась тайно в доме епископа. И приглашенный с Соловецкого монастыря великий, но неизвестный, иконописец написал список со святого образа. Иконописец тот был деньгами жалован, а когда шел обратно, пропал где-то в лесах по дороге к Белому морю. Говорят, утонул, переправляясь через какую-то речку. Денег при нем

не было. Знаменитый монастырь на епископа обиделся, что их любимого иконописца домой одного отправил, без сопровождения своего ружника, что всегда делалось. Был ли в том сопровождении ружник от Пимена — неизвестно. Шептались по углам на Соловках — вроде был. Пимен в монастырь денег послал — откупился.

Когда дошли сведения о зверствах в Твери и Торжке, понял епископ, что пришло время Новгорода. И понимал, и знал, что Новгород уже не тот: никто против царя московского выступить не будет, и сам готовился к приходу царя. Но верил, что пока есть великая икона Знамения Божией Матери, не погибнет Новгород. За день до вхождения Малюты Скуратова в город, Пимен пригласил к себе Андрея Ружника, человека, особо приближенного к епископу, и с его помощью поменял икону в церкви Знамения Святой Богородицы. Тот икону принял, но сказал, что не оставит епископа и родной город в трудное время, и поручил увезти икону из города своему сыну Петру. И потребовал от сына увезти с собой и жену, и детей, понимая, что за подмену иконы, если узнают, никого не оставят в живых, замучают. И сыну сказал: «А ты можешь не выдержать и вернуть ее в обмен за жизнь своих родных». Успел Петр с семьей уехать из города за день до прихода опричников, которые сразу же закрыли всем выезд из города.

Уехали на лошадях, в санях, по известному только ему и отцу пути, в леса, в заимку, верст за тридцать от города. И собак с собой забрали, чтобы не навели и не выдали хозяев. На заимке было все: и еда, и сено для лошадей. Стояла она в стороне от дороги на Онегу, на Двину. И следы быстро замело поземкой.

Дом, срубленный из сосны, был теплый, небольшой, но четверым разместиться можно. Срублен был еще дедом и отцом Петра. На дворе навес для лошадей и припасов. И построен был так, что в нескольких шагах пройдешь —

не увидишь. Жить можно. Да и не барыня была жена Петра: в их доме женщины белоручками не были. Мужья месяцами дома не бывали — все на севере, по указу епископов новгородских. Служили церкви, епископам новгородским уже не одну сотню лет, сами монашество не принимая. Дороги вокруг Новгорода и особенно на север знали, как свои пять пальцев. Казалось, завяжи глаза — до Двины дойдут и не запнутся. Друзей особых не имели. Дом и двор — как крепость, с тыном и собаками. Были все в меру грамотны — писать и считать умели, все-таки книги доходные вели; в воровстве, в поколениях, замечены не были и были на особом счету у епископов. Поговаривали, что предок их в Батыево нашествие от Новгорода напасть отвел. Только тайной это было покрыто. А за века такой неизвестностью покрылось — самим не верилось.

За столетия выросли из простых сборщиков милостыни — ружников (*Отсюда и прозвище такое редкое «Ружник», от слова «ружка» — посудина для сбора церковной милостыни.*) до приближенных к епископам людей, выполняющих их особые поручения; и уходящих по их поручениям все дальше и дальше на север, за Двину, за Печору, на Енисей. А у епископов новгородских всегда с этих северных земель водились великолепные соболя, да и золото с серебром имелось. Было на что и торговлю вести, и церкви строить, и, если необходимо, подкупать нужных людей. Церковь на Руси всегда была больше чем государство!.. На это золото и откупились от монголов. Но времена независимости, богатства Великого Новгорода с возвеличиванием князей московских и особенно царя Ивана Васильевича закончились. Не тот стал Новгород. Про колокол вечевой уже не вспоминали. И про вольности не вспоминали. А ведь как могла история России повернуться, если бы Русь по новгородскому пути пошла, какая бы богатейшая держава была. Но... История такова, какова она есть!..

Через неделю Петр, оставив в заимке жену и двоих детей, ушел по твердому от мороза январскому снегу в Новгород. И побывав тайно на пепелище родительского дома, узнал о жуткой гибели отца и матери. Его дом опричники почему-то не тронули, бросились сразу в погоню, а потом забылось, при таком-то массовом грабеже.

Город представлял ужасающее зрелище. Тысячи необрученных трупов лежали на всех улицах, кровавые ручьи стекали к Волхову, на льду которого трупы граждан новгородских лежали слоями. Незамерзающая полынья под мостом через Волхов была так забита мертвыми телами, что течение не могло их унести, и кровавая вода, как от запруды, поднялась и выливалась на лед.

Петр узнал и про Афанасия Вяземского, что казнил мучительной смертью его родителей.

Опричники грабили, убивали, пьянствовали. Их царь для этого и создал! Афонька — а ведь князем был, тоже пил и грабил, как простой опричник, но утром и днем он занимался розыском пропавшей иконы — царь был недоволен. Пил по ночам Вяземский жутко, до умопомрачения, пил, потому что самому было страшно — кол еще не в заднице, но в голове уже сидел.

Охрану усилил — боялся. Никого близко к дому, где жил, не подпускали; на двор свозили награбленное, князюшка не брезглив был — сам все осматривал, ощупывал, в окровавленном белье рыскал, искал спрятанное, и если находил, то жемчуг, золото-серебро себе присваивал. Сундук уже собрал. Понимал — если царь или Басмановы узнают — сразу на кол. Боялся, засыпал только от непомерно выпитого...

В один из дней около дома, где, как в крепости, обитал Вяземский, появился юродивый: в лохмотьях, босиком по снегу, с тяжеленными цепями и крестом на теле. Синий, трясясь от холода и кричал что-то о конце света и геенне огненной, которая пожрет всех. Юродивого, зная любовь царя к та-

кому же — московскому, не трогали. Обходили стороной. А тот все приплясывал у дома и никуда не уходил. Питался брошенной костью и горбушкой хлеба, чем был очень доволен... плясал, ругался и кружился на снегу еще сильнее.

В одно зимнее темное утро Вяземский не вышел из своих покоев. Не удивились — в последнее время, после беспорядных ночных гуляний, он стал забывчив, неряшлив, раздражителен. Ну не вышел и не вышел. Но днем бросились, а он давно уж окоченел — нож, вогнанный по рукоятку, торчал из левой половины груди. Нож-то самого Вяземского, которым женка ружника Андрея была убита.

И юродивого не было. Бросились искать — да где там. Сундук, половину присвоив себе, Басмановы государю передали. Государь, плюнув на труп вора Вяземского, приказал бросить его на лед Волхова, к казненным горожанам. Заслужил!.. А от кола спасся!..

На шестой неделе зверств, когда уже по городу пройти было нельзя — трупы навалом дороги перегораживали, у царя от пролитой безвинной крови припадки участились и усилились: падал, бился о пол каменный, голову себе в кровь разбивая. Седые волосы вздыбив, скрючившись, как старик, первый Всея Руси Царь и предпоследний из рода Рюриков, часами сидел один на привезенном вслед за ним в Новгород троне и что-то бессвязно бормотал, и пел псалмы. Об иконе не вспоминал. С большим сбережением повезли его Скуратов с Басмановыми обратно в Москву. По пути весь народ в страхе высыпал вдоль санной дороги и, упав на колени, просил прощения у царя за свои содеянные перед ним грехи, и милости просил у Господа, чтобы даровал Царю Великому здоровье на многие лета. И не было царю и сорока лет!..

А уж в Москве началось! Вначале, по приказу царя, Алексей Басманов убил своего сына Федора! А затем казнили Алексея. После наступила очередь опричников. Предатели!.. Потом, в великом страхе, бросил царь Москву на растерзание

татарам, и те сожгли город дотла!.. И напоследок... убил своего сына Ивана! Самолично! Зверски — посохом! Страну утопил в крови и пустыней сделал первый Царь русский!.. А все кричали: «Великий!.. Не уходи!.. Правь!..»

Болен был царь Иван Васильевич...

Народ новгородский, что остался в живых, великое погребение устроил — десять тысяч сразу похоронил в общей могиле. А всего погубил государь московский более шестидесяти тысяч безвинных душ!.. Сжег почти весь город, все церкви пограбил, весь Торг, все дома торговых людей разорил и пожег. Стон и плач стояли в Новгороде...

К новому епископу Феофану принесли найденную в пыточном подвале икону Знамения; тот обрадовался, хотел ее в народ вынести, но один непонятно как выживший инок сказал ему, что всех, начиная от Пимена, пытали и искали настоящую икону, а это список. Феофан список в угол поставил и тканью прикрыл. И посчитал, что истинная икона Знамения пропала. И панихиду по иконе отслужил...

Через месяц после ухода из Новгорода царя, пришел к Феофану тайно Петр Ружник, что с отцом служил у покойного Пимена. Все считали, что он, как и отец его, был замучен опричниками — сгорел в доме своего отца. Ружник попросил епископа удалить всех домочадцев, потом снял шубу и отвязал от спины завернутую икону. Перед епископом предстал пречистый образ Пресвятой Богородицы, молитвенно поднявшей руки и благословляющей младенца Спаса-Эммануила. Феофан упал перед иконой на колени, целовал образ, плакал, благословил Бога за великое спасение и хотел тут же вынести икону к народу. Но Петр Ружник упросил епископа не делать это сразу, подготовить народ к торжеству. Феофан спросил у спасителя иконы, чем бы он мог отблагодарить его самого и род его за такой подвиг? И получив ответ, что ничего не надо, взял из угла завернутый список иконы Знамения и отдал Ружнику на вечное хранение, за заслуги его рода перед церковью и Новгородом...

Через неделю под звон нескольких оставшихся колоколов епископ с духовенством в сопровождении всех жителей Новгорода под церковное пение пронес по городу икону Знамения Божией Матери и внес, и установил на место ее в храме Знамения Пресвятой Богородицы... Оставшийся в живых народ новгородский стоял на коленях и плакал...

Но никогда уже после нашествия царя Ивана Васильевича не оправится, не станет вновь Великим Новгород. Только имя «Великий» останется — и все!.. Будет тихий окраинный город нового жесткого, грозного монголо-русского Московского царства...

Исход

Русским стал народ только тогда, когда перешел через Урал и пошел широким шагом по Сибири, налегке, с одним топором к Великому Океану. А до этого — был полународ: смесь славян и монголов. Триста-то лет ига никуда не денешь! «Да, скифы мы, да, азиаты мы, с раскосыми и жадными глазами...» Вот такой был народ русский, допетровский. Все это блеф, что 1612 год, год освобождения Москвы от поляков — есть год становления России. Чушь!.. Чего там было освобождать, когда поляки сидели уже в осаде и жрали себе подобных. И ополчение второе не особо и освобождать Москву спешило — одиннадцать месяцев шло от Нижнего до Москвы! Ползло!.. Народ взвыл от такого ополчения!.. Как саранча прошла!.. Это для Романовых праздник. Это для них, пришедших на Русь вообще-то из Ливонии, мелких-мелких, худородных бояр, карта взяла, да и повернулась. Все остальные-то бояре в это время ругались да дрались между собой — за каждым была вина в восхождении на престол Лжедмитриев. Вот и кусали друг друга — кто больше помогал в том позорном деле. Да и церковь, подвластная такому же предателю земли

русской, романовскому родственничку, митрополиту Филарету, из страха за себя своего же племянника и поддержала на царство. Митрополит Филарет, ставший при втором-то самозванце аж патриархом, боялся головы лишиться за предательство русского народа — себя спасал!..

При Иване Васильевиче русские за Урал, так, — заглянули, а при Петре народ за Урал пошел, легко и быстро пошел, помахивая топориком. И дошел до океана!..

У любого другого народа увиденная бескрайность, бесконечность мира, природы, вызвала бы трепет и страх. В русском же, наоборот, душа развернулась, заходила ходуним от счастья и удивления, восхитилась увиденным.

Может, так же почувствовал себя другой народ, американский, когда начал познавать, завоевывать свой огромный континент. Но там, впереди, шли мормоны, и стали все американцами. И была европейская жестокость к народам других религий, другого цвета кожи, другого жизненного уклада. Уничтожали не раздумывая. Крестовый поход!.. А взамен навезли рабов. Америку сделали великой — негры!..

Русский же шел за Урал с добром; веру свою гвоздями в руки не прибывал. Примером служил. Называл малые народы «братьями меньшими»; посмеивался незлобно, похлопывал по плечу, руку жал, женился на иноверцах (да и какая вера — камни, идолы да рога), детей рожал. Пришел не как завоеватель, а как друг — на века!

Вот здесь, на огромном пространстве Сибири, Севера, Востока Дальнего и созрел, созданся Великий русский народ. Великая Природа родила Великое дитя! Это здесь пропало чувство униженности, рабства и появилось в русском человеке чувство легкости, доброты и бесшабашности. «Я все могу!» — это отсюда, от природы. Потому, наверное, и революцию в семнадцатом так легко принял: если ошибусь — поправляюсь. Только страной-то уже не русские стали править. Не поправишь!..

Лошади, сытые, легко бежали по санному пути, все дальше и дальше унося закутанных в тулупы, платки, малахай людей. Уезжали путники из Великого Новгорода — насовсем; из земли, где столетиями жили, где предки в могилах лежали, где во славу Руси-России жизнь отдавали. Как воры бежали — тайком, ночью, бросив дома и нажитое имущество. А не бросили — не уехали бы. Нет, конечно, уехали бы, туда же на север, но в кандалах.

А лошади бежали по легкому морозцу навстречу встающему красному солнцу, по искрящему, скрипучему снегу, туда, за Онегу, за Двину, на север, ближе к страдающему уже который год в земляной тюрьме, но несгибаемому, неистовому защитнику веры старой, протопопу Аввакуму. Конечно, не вся семья уехала, часть осталась, признав никонианские реформы. Так они, эта часть семьи, «ересь»: кукишем молятся, земные поклоны не бьют — только в пояс, не по-древнерусским рукописям псалмы читают, а по переводным — итальянским, Исуса на Иисуса переименовали и крест нательный (тьфу!) с распятым Христом носят!.. Не смогли такого перенести русские люди — воспротивились, да еще как, до царя Алексея Михайловича с челобитными дошли. Все жалуются на Никона. А после ссылки и гибели Павла Коломенского появились защитники старой веры: Аввакум Петров, Иван Неронов, Никита по прозвищу Пустосвят... И, сколько власть ни упрашивала, ни просила Аввакума прекратить нападки на Никона, тот не унимался: и в Тобольск, и на Мезень ссылали — не помогло. Тогда был он «бит кнутом» и сослан в место дикое — Пустое озеро на Печоре-реке. И в земляную тюрьму посажен. Вот из той тюрьмы, годами не выходя, «неистовый» кричал и письма посылал. А его сторонников начали казнить. По всей стране. И побежал народ на север да за Урал, где еще воля осталась,

где церковь истинная была жива. Чувствовал, нутром чувствовал, что вот-вот придет антихрист на землю русскую. Недолго осталось! Он уже родился, в последний день мая месяца одна тысяча шестьсот семьдесят второго года от Рождества Христова. Антихрист, губитель истинной русской веры, уже лежал в люльке царицы Натальи. Нет, конечно, он станет Великим, но какой ценой. Не зря же потом умирал в таких диких муках — моча в кровь ушла! Господь все ему припомнил, когда к себе на суд призвал!..

А ведь Никон архиепископом Новгородским был! И служили у него, как всем новгородским архиепископам до этого, Ружники.

Только Никона царь Алексей Михайлович Романов на Москву митрополитом Московским призвал, а затем он — Никон — и русским патриархом стал. А как стал, так всех своих приближенных, кто не согласен был с его новой церковью, стал казнить. Тогда и над родом Ружников, что верой и правдой служили стране и церкви, но за старую веру держались, топор вознесся!.. Признали бы, промолчали бы, приняли бы... так нет же — упрямство родовое вышло.

Лошадки бежали и все дальше и дальше увозили путников от их многовековой родины. Прощай, Новгород! Новгород Великий!.. Никогда уже мы тебя больше не увидим...

Березник

В маленьком северном городе, который и городом-то трудно назвать, — деревянные дома с печками и дымящими трубами, зарывшемся полярной зимой в снег по самые коньки крыш, стоят несколько каменных домов и церковь. И еще на речке, на острове, стоит лесопильный завод, когда-то мощный, в царские, да и советские времена поставлявший великолепную северную доску в Англию, а теперь влачащий жалкое

существование банкрота, но все еще с иногда дымящей, резко возвышающейся над местностью кирпичной трубой...

Это Мезень, бывшая Сокольничья (Окладникова) слобода: русские врата в покорении севера и Сибири!

А эти одинокие кирпичные дома, церковь и завод имеют одно общее название: «Ружниковых».

На старом кладбище, среди покосившихся и рухнувших староверческих крестов, стоят заросшие травой два величественных каменных надгробия: одно — еще целое, лишь с выковырянной из перекрестья каменного креста иконой, второе — со сломанным воинствующими пионерами времен советской власти крестом. У первого на камне выбито: «Здесь покоится прах мезенского купца Ефрема Васильевича Ружникова». Вторая — могила его сына Ивана...

Говорят, по молодости Ефрем Васильевич крестьянином был. Да и все, на севере живущие, крестьянами больше назывались: землю не пахали, даже рожь не сеяли — больше занимались прямым поморским делом: ловили рыбку в Студеном море да селились на берегах Онеги и Двины — лодьи строили, на которых с легкостью под парусом ходили на Грумант и на Матку, то бишь Новую Землю. Ни лаптей на ногах, ни кнута на спине не знавали. Предки, может быть, и знали, да и то вряд ли, в основном из новгородской земли выходцами все были и по своей воле сюда пришли — слободы в бывшем вольном городе им не стало, особенно после резни царя Ивана да никонианских церковных реформ или, если уж быть совсем точными, когда московское княжество в государство превратилось, Новгород покорив и превратив его из Великого просто в Новгород, в захолустную окраину царства Московского.

Часть новгородцев, конечно, за верой старой потянулась, когда патриарх Никон реформы церковные затеял. За старой верой, поближе к бесноватому Аввакуму побегала. Тот-то гнил заживо в яме в пустозерском остроге, что на Печоре-реке,

что далеко на севере, в землях самоедских. Пока бежали, того и сожгли заживо, и пепел развеяли!..

— Вот здесь и остановимся! — Степан Ружник остановил лошадь и стал на колени, и все слезли с телег и стали на колени. И молились Богу!..

А вокруг стояла такая тишина и такая красота окружала усталых путников: река ровная и неторопливая, луга нетронутые, и березы, березы, березы. А далее — лес, тайга...

Все молились. Многомесячное скитание по земле закончилось. Где-то там, на Онеге, остались лежать мать и отец, у Двины — дочь и сын. И вот дошли до места, куда указал идти отец. Жаль, что не все. И хорошо, что ранним-ранним летом дошли. Лошадей распрягли, на луг пустили — пусть отдыхают. Как дошла в такую даль корова, единственная дошла — одному богу известно. Только благодаря тому, что вместо лишнего скарба сено брали, по дороге покупали да косили, где могли, и довели сюда и лошадей, и корову.

И пришли в этот северный березовый край, на реку Мезень три новгородские семьи в двадцать душ, считая малолетних детей. И место то называли «Березник». И кончался семнадцатый век!..

Мужики перекрестились (двумя перстами), поплевали на ладони и взялись за топоры и пилы, и стали ставить один общий дом да сарай для животных и запасов. Женщины — готовить еду, подростки пошли ставить силки на птиц да стрелять из луков, что умели очень хорошо.

Мужики избрали своим негласным старостой Степана Ружника. Это он со своим отцом провел все семьи по трудному и опасному пути от Новгорода до этой поморской земли, до реки Мезени.

В течение месяца сруб дома был готов, и Степан Ружник с Андрейкой Личутой, главой одной из семей, пришедших из Новгорода, пошли пешком вниз по реке, где в шестидесяти верстах находилась Окладникова слободка. Степан в слободке с отцом раньше бывал — слободка со времен царя Ивана Васильевича была административным центром этой северной земли и была по пути на реку Печору, в Пустозерск, на Обь и Енисей к «Мангазее златокипящей». Но в 1620 году царь Михаил Романов запретил мангазейский путь, боясь проникновения иностранцев в Сибирь. Мангазея и зачахла. Романовы с дурака царствовать начали, дураком и закончили! А так, этот путь хорошо знали предки Степана Ружника, которые, будучи ружниками у епископов новгородских, неоднократно бывали и на Мезени, и на Печоре, и за Камнем-Уралом, и в Мангазее. Федька, из их рода, с Дежневым Семкой до Океана дошел.

В Окладниковой слободке было пусто — все мужское население занималось основным своим занятием — ловило рыбу в море. Пришедшие поставили на учет свои семьи (как староверы). Так в этих местах все двумя перстами крест на себя накладывали. Чем дальше от поганой Москвы, тем чище вера! И регистрировались уже не по прозвищам, а по фамилиям, что для России было в диковинку. Не стало больше Степана Ружника, стал Степан Ружников.

Не составило большого труда купить лодку, сети, съестные припасы, свечи, муку и даже двух куриц с петухом. Не бедными были пришедшие на север семьи новгородские, не голь перекатная.

Обустроивались всерьез и надолго. Навсегда. Как поставили дом под крышу, стали все на колени, молились истово; и распеленал, как маленького ребенка, и вынес Степан Ружников перед стоящими на коленях мужиками, бабами да детьми икону. В этот момент солнечный луч упал на доску и лик осветил. Все и ахнули — сама Божия Матерь с Божественным Младенцем распростерла над усталыми людьми

свои руки — сама великая заступница новгородская — икона Знамения Божией Матери!.. Шестьсот лет Новгород защищает и вот на берег Студеного моря пришла с людьми, чтобы и здесь новгородцев защищать...

* * *

Прошло десять лет.

Пришедшие семьи Ружниковых, Поповых, Личутиных обустроились. Построили собственные дома. Были коровы, лошади, курицы десятками бегали по дворам. Росли дети, и старшие уже привели жен с Окладниковой слободки. Внуки на ножки встали. С удовольствием в Окладниковой слободе за «березниковских» отдавали своих дочерей. А как за счастье не посчитать, коли в свободе Окладниковой или стоящей рядом слободе Кузнецова в годы плохой добычи моржового клыка и рыбы наступал голод, и люди умирали. Времена процветания когда-то единственного торгового российского порта — Архангельска прошли, а до новой столицы далеко, даже если выловишь много рыбы — некуда девать, сгноишь. Пришедшие же в верховье Мезени питались намного лучше: имели огороды, выращивали репу и капусту, продукт от цинги незаменимый, ели мясо сохатого, медведя, оленей, рыбу и речную, и морскую; были грибы, ягоды, знали лечебный толк в травах. Не хватало одного — хлеба. Но и эту проблему со временем решили: набитую пушнину меняли заранее за доставку зерна и муки, и не только ржаную, но и пшеничку имели. А пушнина была первоклассная, в основном, соболя, куницы, песцы — это не моржи — это чистая деньга. Купцы с удовольствием били по рукам с поселенцами. Главное — поселенцы не пили, а уж про табак и говорить не приходилось, и слово свое держали.

Пришли новые поселенцы — тоже новгородцы. Но и потери произошли. Попов-сын после смерти родителей, при-

шедших сюда из Новгорода вместе со Степаном Ружниковым, набожный до дикости, борец за старую веру, решил идти дальше, на север, на Печору, ближе к месту смерти идола староверческого — протопопа Аввакума, сожженного в бывшем городище Пустозерске, что на речке Гнилке. И жена, и дети Поповы рыдали, умоляли отца не делать этого. Неистовый — и слушать не стал. Продал Ружниковым дом, хозяйственные постройки, живность. Дали цену хорошую — сами в долги влезли. Поповы с воем уехали — как-то тихо сразу стало в деревне. А через неделю приползла почти до смерти закусанная комарами средняя — Маня. Рассказала бессвязно что-то ужасное, верить в которое отказывались, крестились, приговаривая тихо: «Свят, свят!» Оказалось: через три дня после отъезда провалились всей семьей в яму болотную; мать только и успела ее — Маню — оттолкнуть с засасываемой в топь телеги и лошади к краю мутной водяной воронки, ближе к кустам — она за кусты уцепилась и одна спаслась. Степан вынес из дома икону Знамения Божией Матери, все стали на колени, долго молились, прося и Господа, и Богородицу принять к себе души безгрешные. Спасшуюся Маню приняли в семью Ружниковых как родную. Степан с братьями Личутиными ушел на место гибели и поставил там, на краю болот, большой староверческий крест по невинно погибшим. Землю с того места принесли и похоронили эту горсть на маленьком, всего в несколько могил погосте, и крест поставили в память о семье первых переселенцев...

Маня выросла и вышла замуж за сына Степана — Афанасия, и нарожала ему много детей. Внуков застал старый Степан и первым из рода лег на погост. Крепкий, сильный род оставил первопоселенец Степан Ружников.

Леонтий Афанасьевич, внук Степана Ружникова, возвращался из Мезени морозным февральским днем. День быстро померк, но лошадь дорогу знала, да и домой оно всегда быстрой. Конечно, хотел поехать на оленях, но больно груза и в Мезень, и из Мезени везти нужно много: товары для семьи, товары для соседей, товары для только что открытой лавки. Решил торговлей заняться. Денег под это дело занял. Сани с верхом нагрузил, домой поехал, чтобы успеть к приходу ненцев, кочующих, у которых можно купить пушнину, моржовый клык. А тем нужен чай, сухари, ткани, ножи, топоры... Один раз немножко поторговать попробовал и с прибытком остался, вот и решил серьезно отнестись к новому, манящему большими доходами делу. В бывшей Окладниковой слободе, переименованной именным указом императрицы Екатерины в город Мезень, встретился впервые за много лет с братом Мокеем, что ушел еще молодым из родительского дома в поморские рыбаки и побывал за эти годы и на Груманте, и на Матке, и на Енисее, и на Оби. Брат выпивал, а Леонтий чай пил с баранками да сахар кусал крепкими зубами — непьющий, как все староверы, был. Труженик — не до водки, да и вера... Брат помог Афанасию и его товар: пушнину, репу, речную рыбу, квашеную капусту с хорошим доходом продать, и товар для лавки отобрать, спорил с купцами по цене до хрипоты, поворачивался, уходил, а после снижения цены возвращался. Здорово помог сбить цену и многому научил. Откуда такие познания? Так спорить и с самоедами, и с купцами мореходам приходится постоянно. Да и насмотрелся в Архангельске. Вот, с его слов, город бурный, а говорят, до появления Петербурга вообще протолкнуться на улицах нельзя было. Леонтий звал брата домой, да тот договорился идти с обозом рыбы в Архангельск, а может быть, и в столицу империи — Петербург. Но обещал, как

приедет, обязательно появиться в родном доме, и тогда уж они обговорят все дальнейшие торговые дела.

Все так хорошо складывалось. Лежал в саях, в теплом тулупе Леонтий Афанасьевич и мечтал, что вот развернется с торговлей и переедет в Мезень, а может быть, и в Архангельск! Размечтался!.. И поехал под правым берегом, где снега поменьше и вроде короче — напротив мыска свернуть, реку пересечь, а там уж и до дому рукой подать — три версты. Когда повернул на середину реки, лошадь заупрямилась — стегнул, лошадь дернулась... и провалилась в полынью, задернутую тонким ледком и припорошенную снегом. Сани тяжелые — лед проломили и пошли ко дну, и лошадь за собой утянули, только прощально жалобно заржала. Полынья широкая — заплывал в тулупе Леонтий Афанасьевич. Схватился за край льдины, да куда там — тулуп намокал и тянул ко дну. Как-то из тулупа вывернулся, валенки скинул, хорошо, широкие были, попробовал вновь вылезти на лед и уже почти ногу закинул, да рука соскользнула, и опять упал в воду, аж с головой ушел. Тело быстро остывало, ноги начало сводить, силы уходили, понял — все! Схватился руками за льдину и стал читать молитву, и обратился к Божией Матери, чей лик на темной от времени иконе, что в красном углу родного дома. Шептал замерзающими губами: «Мать Божия, заступница, защитница, спаси, верным твоим рабом до конца жизни буду. Не оставь сиротами детей моих малолетних и не дай им с матерью по миру с подаванием пойти. Все для тебя сделаю. Обетный крест поставлю...» И что-то еще шептал, замерзая, и уже лицо в воду окунул, как вдруг будто кто-то в голову ударил, вспомнил — на поясе же нож охотничий, что в Мезени купил. Еще и покупать не хотел — дома своих два. А этот вот как будто кто под локоток толкнул — бери. Еще и с кожаным поясом и ножнами купил. Схватился покрепче одной рукой за льдину и стал шарить по поясу — вот она, ручка костяная, по кругу резаная, чтобы рука не скользила.

Вытащил, из последних сил вытянулся и всадил нож в лед. Хорошая сталь была — зацепилась крепко. Сколько боролся со смертью, как ногу, а потом тело на лед затащил, не помнил. Вылез, повернулся на спину, а на него звезды глядят, и сияние зеленое по черноте небесной побежало. Подумалось как-то отвлеченно: «К метели!» Как снял ставшие колом штаны и поддевку, не помнил. Остался в одной длинной рубахе... и побежал босиком, уже не чувствуя мороза, по замерзшей реке. Никакой полыньи уже не боялся...

В доме свечи не тушили.

Хозяйка, Мария, места себе не находила. Металась по избе, приговаривала: «Что-то сердце неспокойно у меня! Где-то хозяин наш? Где Леонтьюшко?... Как бы худо с ним не стряслось...»

Мария причитала, потом упала на колени перед образом Божией Матери, стала молиться и бить поклоны. А сама плакала. Дети на печке со страхом смотрели на мать. Старший, Василий, слез и сказал матери: «Может, я пойду на дорогу, посвечу факелом, а не то вроде как метель начинается?»

Дверь отворилась, и в избу ввалился весь в белом и весь белый человек. Узнать Леонтия в этом замерзшем, полуголом, босом, покрытом снегом и льдом с головы до ног человеку было невозможно. Все испуганно смотрели на белого человека, как на какое-то страшное явление. Человек захрипел и упал.

— Леонтий! — дико закричала Мария и бросилась к упавшему человеку. — Леонтий!

Упавший Леонтий не дышал. Лежал, больше похожий на большую неподвижную глыбу льда.

Каким-то внутренним, звериным чутьем Мария поняла, что надо делать. К приезду Леонтия из поездов в Мезень всегда была готова баня: и зимой, и летом. И в этот день баня, натопленная по-черному, была даже заранее проверена, чтобы не угореть.

«Васька, дети, тащите отца в баню!» — закричала детям Мария. Дети скатились с печки и, ухватив отца за скользкие, стоящие, как ледышки, края рубахи, тяжело потащили из избы. Сама бросилась собирать теплые вещи, тулупы, свечи и в последний момент, не зная почему, подтащила лавку в красный угол и, схватив икону Знамения, побежала догонять детей.

По снегу большое, тяжелое тело Леонтия в замерзшем белье тащить было на удивление легко — как на санках скользило. В бане все вместе с огромным трудом, перекатывая, затащили мертвое тело на полог. Дети, кроме старшего, десятилетнего Васьки, со страхом сбились в углу жаркой бани и с нескрываемым ужасом смотрели на безжизненное тело.

Мария, непонятно зачем, поставила у изголовья мертвого тела икону и стала стаскивать с мужа белье, но оно, промерзшее, катилось под рукой, женщина дергала, дергала, стараясь порвать — все было бесполезно. Плача, воя, Мария схватила из деревянной шайки запаренный веник и стала неистово бить по безжизненному телу. Била с хрипотой, с присвистом из горла, по звеневшему и скрипевшему от ударов белью.

Закричала детям: «Подбавьте жару!» И продолжила бить веником по смягчающейся от ударов и тепла мужниной рубахе. Ткань размокла — Мария попробовала разорвать и только тогда увидела, что в руке Леонтия зажат нож; как разжала кулак, непонятно, но разжала и этим острым ножом разрешила рубаху. Дети с ужасом смотрели на отца. Понимали — отца больше нет. Младшие заплакали. Мать схватила веник и снова стала с силой бить, бить, бить по большому синему безжизненному телу и что-то кричать, кричать, кричать. Васька схватил второй веник и тоже стал бить по телу отца. Вдруг Леонтий захрипел, ртом пошла пена, открыл глаза и дико и бессмысленно посмотрел на стоящих над ним с поднятыми вениками жену и сына. Мария упала ему на грудь и зарыдала.

«Батя, батя, живой!» — хором заорали дети и заплакали. Подбежали к отцу и стали его трогать за руки, за лицо, дергать за бороду и волосы на голове.

Васька потупился, потом сказал братьям и сестре: «Пошли!» — и увел детей в дом. А Мария все плакала и что-то бессвязно шептала. Леонтий как-то тяжело вздохнул, положил руку на голову жены и тихо, жалобно, грустно, виновато прошептал: «Провалился я... И лошадь пропала, и товар. Заступница наша — Божия Матерь спасла! Обет ей дал. Да если бы не нож...» И заснул.

Мария взяла тулуп и накрыла мужа. Присела рядом на лавку и стала тихо петь северные протяжные песни, время от времени прерываясь и произнося молитвы во имя Господа и Божией Матери... А по темному от времени лику Богородицы то ли от жара, то ли от божественности побежали масляные слезы, оставляя светлые полосы на темной иконе...

Через неделю, чуть поправившись, Леонтий сам, один, поставил на мыске у реки большой восьмиконечный обетный «с крышей» крест. Чтобы в веках стоял!..

Застудился Леонтий Афанасьевич: стал сильно кашлять, иногда с кровью, и волосы, темные от природы, стали белыми-белыми — снег на голове.

Целых пять лет потом вылезал из долгов Леонтий Афанасьевич. Продал все постройки, купленные дедом Степаном у погибшей в болоте семьи Поповых. На дворе осталась одна коровенка и одна лошадка. Дни и ночи и он, и жена Мария, и дети трудились на других людей. Голодали, каждую копейку берегли, но рассчитались со всеми долгами. Соседи, которым были должны, понимали и с расплатой не торопили. Да, долг — есть долг! Не в роду было долги не отдавать. И работали, работали, работали. Вылезли из долговой ямы нищими. И опять работали, но уже, как раньше, на себя, и людям стали помогать, пусть копейкой, но доброту помнили.

— Ну вот, мать, — сказал Леонтий после первой новой поездки в Мезень, — вроде выкарабкались! — и шаль пуховую теплую достал и одел на плечи раскрасневшейся от счастья жены. — Это тебе от меня с Василием. Молодец парень. Так торговался, что куда там мне. Чем-то Мокея, братца, напомнил. Тот, узнал я, как тогда в Архангельск ушел, так и не возвращался, говорят, что устроился там плавать на кораблях. Да еще, говорят, пьет. Плохо это. А Васька наш молодец, есть на кого дом оставить. И когда он успел грамоте выучиться?

— По ночам они, Леонтий, учились, сами, и где книжки брали — не знаю. Так ведь и малые тоже и письмо, и счет выучили.

— Ну вот и ладно, вот и хорошо. Пора им в люди выбиваться. А без знания-то ныне никуда — так крестьянами или рыбаками и останутся. Молодцы!.. Скажи, банька-то готова?.. Тогда я пойду.

Леонтий Афанасьевич ушел в баню и из нее уже не вернулся: попарился, сердце зашлось, присел в холодке, кровь и хлынула горлом — так сидя и умер. Снесли на погост, где Ружниковых уже немало собралось, со времен деда Степана. А мужику и сорока-то не было!..

И остался пятнадцатилетний Василий в семье за старшего, за кормильца. Крепким парнем оказался: через год и мать, и младшие, и соседи величали уважительно: «Василий Леонтьевич». С головой и хозяйственным был Василий... Леонтьевич... В род!..

Сыновья Василия Леонтьевича — Ефрем, Василий и Андрей характерами пошли в отца: упрямые, трудолюбивые, хваткие, уже грамотные, и в нищете дедовской уже

не жили, — отец, пусть и не так много прожил, но детям, кроме природных качеств, денегат немного оставил, и умирая попросил сыновей поддерживать друг друга, но вместе в Березнике не жить — пора переселяться — жизнь того требует. Сели братья за родительский стол (не пили — старая вера не позволяла) и договорились: Ефрем как старший останется в родительском доме, Василий займется торговлей дальше на север, к Печоре, Андрей поселится в Мезени и тоже займется торговлей — денег дали для открытия своей лавки. Хватит свое в чужие руки отдавать. Решили покупать и продавать все сами.

И получилось. Братья по отношению друг к другу были честными: собирались раз в полгода вместе в родительском доме — доходы делили поровну и принимали решения о выделении денег для расширения торговли. И все были довольны. И дети у всех подрастали грамотными и помощниками своим родителям. Подумывали уже совместную компанию открыть и даже название придумали «Братья Ружниковы».

У трезвых да работающих людей всегда дела хорошо идут.

Особенно удачливым оказался Василий Васильевич — торговля с самоедами, с русскими поселенцами в землях от Мезени до Печоры, приносила очень хороший доход. Андрей только успевал продавать привозимые в Мезень меха, моржовый ус и клыки, мясо, рыбу и поставлять Василию для продажи ткани, оружие, порох, скобяные товары, керосин, бусы и медные бляхи для ненцев и, что было запрещено законом, — водку. А как без водки-то с самоедами торговать? Способ-то был один и очень простой: приезжали в стойбище, поили по-дружески, бесплатно, а на утро, извини, похмелиться хочешь — плати: пушниной, тюленьими шкурами, мясом, клыками моржовыми. И платили, а куда денутся. За бутылку не то что меха — жен с дочерьми предлагали. Только кому они нужны — если отмыть только? По пути от Мезени до Печоры в каждом крупном селении были свои

амбары. Охранять не приходилось — север, замков даже на домах не держали. Так, палочку поставят — значит, дома никого. Север!.. И едет Василий Васильевич от одного поселения к другому, от одного ненецкого стойбища к другим, а уже все готово — забирай, и у него все готово, все заказы в санях. Хорошо!.. А лес сменяется перелеском, а тот тундрой и болотами. Да Василий дорогу не хуже всякого ненца знает — топь обогнет. Но и главное — любит он этот край, до звона в душе, до замирания в сердце любит. А особо — березы!

Да какой русский не любит березы, самым родным, самым любимым, самым русским деревом считает. Как увидит где русский человек березку, так сразу к ней, к родной, — и давай обнимать да целовать. А если роща березовая, то деревню ставит. Так и Березник стал Нижним Березником — выше по реке, тоже в березовой роще, поставили люди свои дома и назвали деревню «Березник». Сколько же по России Березников — не счесть!..

В отличие от братьев, у Ефрема Васильевича дела шли не так хорошо: доходы были меньше, семья больше. Думал: «Зачем согласился дома, в Березнике, сидеть? Вся и торговля — если кто из ненцев пройдет через деревню да в деревенской лавке кто что купит, — да много ли наторгуешь в деревне на три десятка дворов. Сидел бы в лавке в Мезени, как Андрей, или свежим воздухом дышал, ненцев спаивая, как Василий». Правда, верил, что братья перед ним честны. Но где-то в глубине, под сердцем, нет-нет, да и скребнет: «А если нет?.. Вдруг, да утаивают?.. И придет время, и скажут: «Хватит тебя кормить!» — и что тогда делать буду? А ведь семья — детей трое». Нехорошо как-то сразу становилось на душе у Ефрема Васильевича... зло, завидно и боязно.

А тут еще приехал брат Василий да не один, с товарищем по торговле, знаменитым архангельским купцом Сумковым. Тот интерес проявил вступить на паях с братьями в торговлю с ненцами, чтобы оленину скупать зимой да в Архангельск санным путем доставлять. Там у Сумкова все схвачено — вся торговля под ним. Деньги в дело готов вложить, и немалые. Вот с ним-то Василий Васильевич по пути и заехали к Ефрему Васильевичу. Еще и сына своего, Дмитрия, привез — ровесника Петру, среднему сыну у Ефрема. Парень был такой огненно рыжий, что, казалось, на голове огонь горит. Так и кликали: «Митя-красный», «Митрий». Парнишка хоть и мал, но чувствовалось — в отца, с головой, но необыкновенно спокойный и какой-то добрый. Не в род — не жесткий. В церкви бы ему служить. Митрий должен был отца сопровождать — учиться торговому делу. Купец, Никифор Лукич, выпивал и табаком баловался; поили его, хоть и не разрешено это в староверческих домах, всеми имеющимися для этой цели водками и настойками, а про закуску и говорить нечего. Купец пил и все поругивал братьев, что нет у них размаха, что надо вести торговлю так, да так. И чего они, староверы, на доски молятся?.. Бог один — деньги!..

— Ну какая, ей богу, разница: два или три перста — все равно кукиш получается? — посмеивался Никифор Лукич, закусывая после очередной рюмки, но на икону в красном углу внимание обратил: — Это что у вас за икона такая старинная, я таких никогда не видал? Продайте!.. Я вам большие деньги за нее дам!..

— Не можем! — за обоих братьев ответил Василий. — Это же икона Знамения Божией Матери. Самая почитаемая с древности икона в Великом Новгороде. Ее, по преданию, епископ Новгородский нашему прапрадеду Петру подарил за какой-то подвиг. Она и деда нашего Леонтия спасла, когда он, бабка рассказывала, провалился зимой под лед на Мезени да на нее молясь, выбрался и голый по морозу три версты

бежал. Нет, Никифор Лукич, и не проси — святыня это наша, семейная. Защищает она наш род.

— Ну и ладно. Не хотите продавать — не надо. Надумаете, только скажите и цену сами назовите. Заплачу. А что у нее за дырка и разводы на лице?

— Дырка та еще до нашествия татар, от стрелы, когда она ворового от Новгорода отворотила. А слезы? Когда спасали деда нашего от смерти, она сама стала мироточить — вот и полосы от слез Богоматери.

— Ну и верите же вы во все эти бредни! Деятнадцатый век к концу идет, а вы все на Бога надеетесь. Дети, ей богу, дети вы — староверы... Давайте выпьем!.. Ну не пьете, так хоть закусите... Ну что вы за люди: не пьете, не курите и за девками, поди, не бегаєте? Скучно так жить. Не по-купечески это. И русские вроде... Давайте выпьем!..

Курить в доме, хоть и почетный гость, Сумкову не разрешили. Поили и в баню водили. Парились. Вот и просквозило Василия Леонтьевича — слег, закашлялся. Сумков-то странной вонючей жидкостью — коньяком называется, отпился. Расстроенный, уже хотел домой ехать, да Ефрем предложил себя вместо заболевшего Василия. А что? Места и дорогу знает — с малолетства ходил, еще с отцом в сторону Печоры, все покажет. Сумков недолго думал — согласился. Раз знает — чего же возвращаться? Обрато до Архангельска немалый путь. Василий, больной, расстроенный, брата наставлял, как и где идти, где какое болото незамерзшее обойти. Переживал сильно. Сына с ними не отпустил, хотя тот и просился. В следующий раз. А пока с братьями на лыжах за куропатками пусть побегает. Тоже польза. Собрались быстро — зима, день короток. Сумков побольше вонючей своей жидкости прихватил, все остальное у Василия было, да Ефрем добавил. Поехали на запряженной в сани лошади. Тулупы, валенки одели — не замерзнешь. Решили не спешить: верст по двадцать в день проезжать. Через десять дней обещали вернуться.

На прощание Василий еще раз напомнил брату, чтобы за крест памятный не заходил и, как увидит, сворачивал в сторону.

И когда уже отъехали, пересилив кашель, крикнул отъезжающему брату: «Помни про крест!..» Ветер был — услышал ли?

Хорошо по морозцу ехали. Никифор Лукич время от времени к фляжке прикладывался, что на шее висела, трубочку покуривал да крякал и бороду вытирал. И клевал носом, пьянький, или спрашивал о чем-то. Так, ради словца. Потом все-таки уснул — сморил свежий воздух да вонючая жидкость.

Ефрем Васильевич молчал или отвечал невпопад, а сам думал: «Если хорошие деньги за икону даст, чего не продать. И правда — доска, ничего уж не видно. Хватит мне перед братьями нищим-то выглядеть. Пора и самому в люди выбиваться. Купец-то прав — другие, видимо, времена наступили. В деньгах сила! Как бы капитал мне начальный — эх, и развернулся бы я! Торговлю бы серьезную завел, и не в Мезени, а в Архангельске. Да, капитал бы мне, я бы братцев-то обставил. И правда, может, икону-то продать? Как проснется — надо с Никифором Лукичом серьезно поговорить».

Лошадь в наступающих зимних сумерках встрепенулась, заржала и стала пятиться.

«Ты — мне!» — крикнул Ефрем и стегнул по крупу. Лошадь дернулась и остановилась, провалившись по колени в выступившую из-под снега бурую жидкость.

«Ну!» — хлестнул еще раз лошадь Ефрем и замер, испугавшись. Сани легко провалились под снег.

В испуге оглянулся вокруг и подумал боязно: «Это куда же меня занесло? Вроде места знакомые. Где-то ведь здесь дол-

жен крест стоять. Прадед Степан ставил, посчитай, лет сто пятьдесят назад. Неужели сгнил и упал? Господи! Неужели в болото то окаянное, поповское въехал?»

Лошадь дергалась и все больше и больше погружалась в трясины. Ржала жалобно. Ефрем стал бить кнутом лошадь — та ржала, дергалась, пытаясь вырваться, и погрузилась в топь по брюхо. Перестала дергаться и только подняв к небу морду, жалобно ржала, как рыдала. Смерть за ней пришла не по ее вине, по глупости человеческой.

Ефрем испугался. Стал толкать храпящего во сне Сумкова. Тот ворочался, отбрыкивался, что-то бормотал.

«Просыпайся, Лукич! Просыпайся! Беда у нас! Беда!» — кричал Ефрем и тряс купца за шубу. А тот отталкивал руки и продолжал что-то бормотать.

«Бросить тебя, что ли? Один-то, может, и выберусь? — подумал Ефрем. — Да как бросишь-то? Обратное приведут и утопят!» И закричал, громко, по-звериному:

— Да проснись, ты, Никифор! Беда! Смерть за нами пришла!

Никифор Лукич моментально открыл глаза и стал озираться, как будто хотел увидеть ее — костлявую.

— А?.. Что, Васильевич?.. Что случилось?..

— Беда, Лукич! В яму болотную провалились. Видишь, лошадь — все, одна голова торчит, уже не ржет, понимает, что конец. И сани наши потихоньку опускаются, как до ямы дойдут, так и ухнут! Не знаю, как выбраться.

— Как не знаешь? Завез и не знаешь? Погибели моей хочешь?

— Да какой — «твоей»? Обоим смерть приходит. Молись, Никифор Лукич, лютой смертью сейчас мы с тобой умирать будем!..

Оглянулся. В зимних сумерках, метрах в пяти, проглядывался куст, а за ним другой, третий и так дальше к лесу. Подумал: «До куста бы допрыгнуть. Да как? Не долетишь... Сам-то попробую, а этот боров как? Не сможет — тяжелый».

Сани провалились, и мужчины стояли валенками уже в темно-коричневой булькающей жиже. Лошадь как-то прощально и укоризненно фыркнула, болото полилось в ноздри, еще раз вздернула голову, скосила глаза, полные слез, на хозяина и ушла под бульканье в трясину. Только вода расступилась и сошлась вновь. Все!..

«Теперь и наш черед! Как же до куста-то добраться?» — в страхе думал Ефрем.

Никифор Лукич стоял молча, поникший — смирился.

«Матушка! Заступница! Богородица! Спаси! — зашептал Ефрем Васильевич. — Прости за все грехи! Прости, что подумал плохо, что продать икону святую твою — Знамения — решил. Бес попутал! Спаси, заступница! Как дед, крест обетованный поставлю! Спаси!..» И начал креститься и мотать головой. Сумков стоял безучастно, только глаза вытарачил невидяще и бледными губами что-то шептал.

«Господи, тынзей! — вдруг ударило в голове у Ефрема. — Василий же в сани положил. Как будто знал. И о кресте предостерегал. Эх, брат — прощай! — А сам начал шарить рукой по ушедшей в воду телеге. — Ведь предупреждал! И не простую веревку положил — тынзей ненецкий, чтобы бросать удобней было. Где же он?..» Скинул шубу и, став на колени, погрузился по шею в темную вонючую жижу и стал водить руками... И уцепил плетеную веревку, кольцами скрученную. Достал. Метров двадцать будет. На конце скользкая петля, чтобы раскрутить, бросить — и обвилась. Эту премудрость Ефрем с детства знал, лучше всех из братьев накидывал петлю на деревья и кусты. Забылось только. Раскрутил плетеную веревку — бросил, потянул — петля соскочила с куста. И стал бросать. В болотной жиже уже стояли с Сумковым по пояс. Тот, закрыв глаза, шептал молитву и крестился, вытянув пальцы — двуперстно. Немного еще — в пустоту оба провалятся — и все. Ефрем бросил, еще раз бросил, еще раз... и зацепил. Петля вокруг куста обвилась, стянулась у основания.

Потянул со страхом — плетеная из оленьих жил самоедская веревка натянулась, но держалась за куст крепко.

— Скидывай, Лукич, шубу, валенки — полезли!

— Не могу, боюсь.

— Ну и черт с тобой! Богородица, заступница, помоги! — и, натянув веревку, сошел с саней и сразу погрузился в болото с головой, потянул веревку и, выдернув голову, стал перебирать руками, тяжело, медленно, хлебная грязь, полз, полз... схватился за куст и вылез. Шатающаяся, но твердь под коленями была. Жив!..

— Лукич! — захрипел. — Я тебе веревку брошу, цепляйся, вокруг себя обвяжи узлом — я тебя вытащу!

— Вытащи, Ефремушка, вытащи! Я тебя озолочу, если спасешь. У меня и золото, и серебро есть. Только спаси!.. — в каком-то испуге закричал Никифор Лукич.

— Да на кой мне твое золото! Держи веревку!..

Ефрем намотал трясущимися руками, поспешно, кольцами веревку и бросил. Докинул. Сумков скинул шубу и, хоть и дородный был, а веревки хватило обвить себя вокруг живота и завязать узел. Схватился за веревку.

— Боюсь!.. Не пойду!.. Господи, спаси и сохрани!..

Ефрем резко дернул за свой конец веревки, купец упал с головой в болото и веревку отпустил. Над водой появилась голова с открытым ртом, и в этот момент сани провалились, чуть не утянув за собой Никифора Лукича.

— А-а-а! Погибаю! — захлебываясь закричал купец.

— Хватай веревку, сволочь! — кричал Ефрем. Купец барахтался в болоте. — Хватай! Вытяну!

Но веревку не тянул, боялся — вдруг у того на животе развяжется? Сумков махал, махал руками и уцепился за веревку.

— Держись! — и Ефрем изо всех сил, зайдя за куст, проваливаясь по пояс в трясины, стал тянуть и перебирать скользкую плетеную веревку. И вытянул уже задохнувшегося,

полумертвого, схватившего намертво веревку купца. Узла на животе не было... зато на шее висела фляжка... Выбрались к лесу и легли на снег. Под руками Ефрем нашупал что-то твердое, разгреб снег — Господи, крест!..

Два человека в замерзшей одежде брели по лесу. Они шли третий день, туда к реке, к людям. На ногах были привязанные обрезками спасшей им жизнь веревки рукава от рубах. Повезло: у табачника Никифора Лукича, кроме фляжки с коньяком, сохранилась трубка, табак и спички, особые, с фосфорной головкой, которые не тухли в снег и ветер. А не спички — незачем было и спасаться! У Ефрема Васильевича — нож с резаной костяной ручкой, что еще в малолетстве как старшему в семье ему отец подарил. Тот, когда дарил, сказал, что пригодится, — деду Леонтию жизнь спас! Вот и пригодился. Шли весь чуть светлый день: от сумерек до сумерек. На ночь зарывались под огромные ели, как в шалаши: снег разрывали, ножом лапника нарезали, разводили костер, отогревались, выпивали по глотку вонючей жидкости из фляжки Лукича. «Как же они ее пьют?» — думал Ефрем, кашляя и задыхаясь, как от огня, но какое же потом тепло по всему замершему, усталому телу разливалось... Лукич еще глоток-другой пропускал и тоже ложился. Вместо еды жевали табак. Помогало — не так болел желудок. Первый костер развели там — на месте спасения, из старого упавшего поминального креста. Горел очень хорошо и жарко. Думал тогда Ефрем Васильевич: «Выберемся — новый поставлю! Еще больше!.. Мать Божия, спаси!» Гнал страх от понимания предстоящего — не дойти: без одежды, без еды, без лыж — не дойти!..

Никифор Лукич почти сразу сник: был вял и безучастен. Не шел — брел, падал, вставал и опять брел. Не дойти!..

Во вторую ночь, сидя под елью у небольшого костерка, допил Сумков все из фляжки и пьяный, и бессильный, глядя перед собой дикими глазами, тяжело дышал и бормотал: «Ты,

Ефремка, вытащил меня — а зачем? Все равно погибнем! — потряс фляжку, попробовал вытрясти что-нибудь в рот, отбросил от себя. — Вот и коньяк кончился, согреться нечем».

Ефрем уже привык к его нытью, не обращал внимания, сжавшись в пружину, жил одной мыслью «Выжить!» Вот и сейчас, под бормотание купца, старался заснуть. Ну не заснуть — подремать, пока костер горит. Никифор Лукич глядел на огонь и бормотал: «Ефремка, если вытащишь меня, я тебя озолочу. У меня в доме тайник есть, там золото еще от деда лежит — убивец и душегуб он был. Шайку собрал и на дороге московской на путников напал и убивал, а потом всех своих же товарищей тоже убил и один с награбленным ушел. Отец-то мой награбленное в дело пустить побоялся — про деда уже тогда слух нехороший шел. Покажи он золото — сразу поволокли бы на пытку и спросили: «Где взял?» Он мне и передал перед смертью. Я только половину израсходовал — видно, много душ дедушка мой загубил, много золота еще осталось. Я тебе, Ефрем, много дам золота, только спаси. Я тебе все отдам, только спаси! Про то золото никто не знает: ни дети, ни жена». И продолжил бормотать что-то нечленораздельное.

Ефрем Васильевич, сжавшись, отвечал: «Да не нужно мне твое золото! Жизнь-то дороже. Может, покурить хочешь? Так покури. Трубка-то где? Неужели потерял? Эх, надо было ее у тебя забрать. Давай отдохнем и пойдем. Идти надо, Никифор Лукич. Иначе погибнем».

Ефрем подбросил сухих веток в костер, прилег поближе к огню и закрыл глаза. Купец не спал, сидел и что-то продолжал говорить. А потом взял и стал зажигать одну за другой спички — все сжег!..

На третий день вышли к реке — Мезень! Купец уже не шел — бред, падал, плакал, шептал молитвы, поднимался, полз и вновь падал. И в конце концов не поднялся. Ефрем Васильевич, сам без сил, на коленях тянул Никифора

Лукича по снегу. Рук не чуял и на крик уже сил не было. Тряпки с ног потерял. Знал — немного осталось. И все больше и больше в голове билось: «Бросить его. Бросить его. Один, может быть, дойду. Подмогу пошлю...» И понимал, что не дойдет, а если и дойдет, то купец к тому времени либо помрет, либо волки загрызут. «А правда, — подумал, — почему волки-то нас не тронули? Все же время вокруг ходили, выли, а не нападали. Почему? Защитница! Все она, Матерь Божия, защитила. Тянуть его надо — немного осталось». И тянул бессильного Сумкова или думал, что тянул. Река же родная, дом, совсем немного осталось...

— Лукич, — шептал замерзшими, треснутыми губами на ухо Сумкову. — Немного осталось, дойдем, доползем. Держись!..

— В подвале, в дальнем углу, на камне крестом отмечено, — шептал Никифор Лукич в беспамятстве. — Под ним рыть надо. Золота там много... Дедушка убивец...

Ефрем не слушал, тянул...

Дети Ефремовы: Ванька-старший, Петька-средний и Митька-красный, сын Василия, шли на лыжах вдоль реки проверять силки на куропаток. Удачная была охота — болтались птицы у каждого на поясе.

И вдруг увидели две непонятные белые тени на середине реки. Даже сначала не поняли, что такое увидели. Испугались — волки или (перекрестились), Господи, лешие белые. Потом поняли — люди! Те не шли — ползли. Один, стоя на коленях, дергал другого, лежащего, стараясь сдвинуть. Люди!.. Старший Иван крикнул Петру: «Беги в деревню! Пусть с лошадью едут! Люди здесь, люди!»

У Василия Васильевича, когда Петька, без шапки, ворвался во двор и закричал: «Там люди на реке! Замерзшие!..», сердце екнуло: «Ефрем!» Хорошо, что лошадь, в сани запряженная, на дворе стояла. Петьку в сани — и кнутом ее, кнутом. Ехали по реке всего час. Приехали и ахнули — Ефрем

весь белый, еле живой, в маленьком тулупчике Ивановом. Иван с Дмитрием рядом, плачут. И лежащий на снегу, почти бездыханный Никифор Лукич Сумков. В сани мертвяков погрузили, Василий, хоть и больной, тулуп скинул, накрыл Лукича, сеном прикрыл и погнал лошадь, не жалея кнута. Загнал лошадь и под вой жены Ефрема, с помощью соседских мужиков, потащил обоих в баню. И закричал на жену Ефрема — Авдотью, чтобы икону Знамения несла. Все еще помнили, как деда Леонтия спасали!

Ефрема-то вениками отходили. Под молитвы жены и плач детей. «Что случилось, Ефрем? Что случилось?» — кричал, хлеща брата веником, Василий. А тот, не открывая глаз, прошептал: «Провалились в топь, как раз где крест. Крест-то упал, не заметил. Спасибо Матери Божией — спасла, да тынзей, что ты положил, а так бы все...» — «Как же так, Ефремушко, ведь предупреждал я тебя? Как же так?» — «Не знаю...» А вот Никифор Лукич что-то все бормотал о богатстве и золоте, потом затих и отошел. Наверное, не захотела Мать Божия спасти! Почему?.. Может, в Бога мало верил? Или не верил вообще?..

Отпели. Свечи поставили. И решили на семейном совете: надо, пока морозы, отвезти купца к нему домой, в Архангельск. Особенно настаивал на этом Ефрем Васильевич: мол, перед смертью просил купец так сделать, слово с него, с Ефрема, взял. Да и виноват он, Ефрем, перед ним и перед его семьей. «Сам доvezу!» — «Куда ты такой — помрешь по дороге!» — «Нет, сам!..»

Денег собрали. И повез тело Ефрем Васильевич, и сына Ивана с собой взял; на двух лошадях: в одних санях — гроб, в других — сам, с сыном. На постоянных дворах, увидев гроб — крестился народ. Подальше сани ставили. Покойник в дом! Долго вез — довез. Воем встретил дом мертвого Никифора Лукича. А дом большой, каменный. Таких еще домов деревенские не видели. Рассказал Ефрем Васильевич жене и детям Сумкова, как умер их отец: сердце заболело — и умер. А перед смертью попросил домой привезти. Ефрем

деньги, что были при покойном, все до копейки его жене отдал. Мы люди северные — честные. Отпели Никифора Лукича в церкви, пышно, не как у староверов. А уж поминки больше на праздник походили. Даже понравилось, особенно, когда выпил, и не водки — коньяка. А вокруг пляшут, песни поют, целуются; не поминки — свадьба! Голова от шума и вина закружилась. А когда вдова прижала его к своему крупному телу, и вовсе голову потерял. Мужик Ефрем Васильевич был сильный, а вдова — женщина жаркая!..

Пока сын по Архангельску гулял да смотрел, открыв рот, на невиданный ранее большой каменный город с морскими кораблями на рейде, Ефрем Васильевич помог вдове порядок в доме навести: приструнил всех, хозяйство поправил, все проверил, даже в подвал слезил, один, разобрал там хлам. Вдова, лежа с ним в постели, плакала, просила остаться, хозяйство на себя взять, да и ее не бросать. Люб он ей!.. Обещал вернуться. Денег ему давала. Не взял. За любовь — да деньги? А про мужние — Лукича, что в подвале, она и правда не ведала. А он промолчал. А зачем ехал в такую-то даль?.. Помиловались еще немножко, и поехал Ефрем Васильевич с сыном на одной лошади — вторую продал — к себе домой, к семье, в Березник, уже понимая по дороге, что все — его жизнь круто повернулась. В новую жизнь ехал. Крестился, думая: «Матерь Божия, спасибо и за спасение, и за помощь!» Про обетный крест не вспоминал... И к фляжке с коньячком время от времени прикладывался. Другой человек возвращался домой!.. Посторонись, народ!.. Новый купец едет — Ефрем Васильевич Ружников!..

Прошло пять лет.

В старом родительском доме, просевшем на один угол, за столом сидели трое взрослых мужчин: Ефрем, Василий

и Андрей, все Васильевичи по отцу, родные братья, Ружниковы по роду. Все коренастые, здоровые, крепкие мужики. Единственно, что отличало старшего, Ефрема — седая шевелюра — память о страшных испытаниях и чудесном спасении, произошедших с ним несколько лет назад. Братья были одеты в современную купеческую одежду: белые рубахи с поясом, жилетки с серебряными часами-луковицами на цепочке, брюки заправлены в мягкие, блестящие от лака сапоги. Лицами, ростом, да и фигурами братья были похожи — порода: лица ровные, не скуластые (монголами и не пахло), с прямыми носами и жестковатым взглядом серых глаз. Ефрем Васильевич и Андрей Васильевич прическу носили короткую, и бороды были аккуратно подстрижены. Василий Васильевич, средний брат, явно веру берег: волосы длинные, а борода широкой лопатой опускалась до груди. В доме, кроме братьев, никого не было; жены с детьми пошли погулять напоследок по родным березовым рощам. А до этого всей большой семьей сходили на погост, поклонились родителям и предкам своим, начиная от Степана Ружникова, который пришел сюда, в это место, больше полутора столетия назад. Правда, «крест-домовину» на могиле прапрадеда поменяли на крест из лиственницы, но все равно по старообрядческой вере — чтобы еще век стоял.

Стол устали едой и закусками; перед сидящим во главе стола хозяином дома, Ефремом Васильевичем, поставили хрустальный графин с отливающей золотом прозрачной коричневой жидкостью — дорогим французским коньяком. Покойный купец Никифор Лукич Сумков память такую Ефрему оставил за те страшные дни их смертельных скитаний пять лет назад. Ничего не принимала душа у Ефрема Васильевича — только коньяк. Младший, Андрей, тоже выпивал, но, в основном, водку. И, в отличие от братьев, курил папиросы. Курить в родительском доме ему не разрешили (вера), и он выходил подымить папироской на широкий двор, где

около забора собирались мальчишки посмотреть на чудо, как мужик дым пускает, да еще и кольцами. Деревня-то староверческая. Средний, Василий, не пил и не курил, веру берег и посты соблюдал.

Двор был пуст. Скотина вся продана. Тихо, грустно, уютно было на пустом дворе, даже курицы не бегали. Каждый шаг — эхом.

Братья собрались в родительском доме в последний раз. Хозяин дома, Ефрем Васильевич, переезжал в город, в Мезень, насовсем. И этот старый дом был уже продан одному из дальних родственников, проживавших здесь же, в Березнике.

— Ну что, братья, давайте выпьем за наш, за родительский дом, помянем всех Ружниковых, что родились здесь, жили здесь, умирали здесь, — стоя, держа хрустальную рюмку с коньяком, сказал старший из братьев — Ефрем.

Братья встали, молча выпили, Василий — морс.

Ефрем Васильевич в этом доме в последние годы наездами бывал. Как-то сразу, после того страшного случая, произошедшего с ним пять лет назад и оставившего ему отметину — седую голову, дела у него пошли в гору. Купил лавку в Мезени, брата Андрея нанял в ней управлять; тот управлял и другой, совместной, ранее братьями в складчину построенной лавкой. Где одна, там и две. Построил и купил несколько лодок, нанял рыбаков и стал ловить рыбу в море Студеном и туда, дальше, на Канин Нос и к устью Печоры. Семгу, сельдь, треску ловил, в ледники, построенные в низовьях реки Мезени, складывал, а зимой, по зимнему пути, на лошадях отправлял в Архангельск, там у покойного Сумкова магазины остались. Иногда и сам уезжал с товаром. Приезжал из Архангельска опустошенный, но довольный. И вот решил — все, пора и ему уезжать, тем более дети выросли и в Мезень уже перебрались. Иван, старший сын, первым помощником во всех отцовских начинаниях стал.

Братья как-то разошлись в последние годы по торговым делам. Ефрем Васильевич больше самостоятельно стал торговлей заниматься. И деньги откуда-то появились. Лодки построить, рыбаков нанять — деньги немалые нужны. Но не в роду было спрашивать. Ну, хочет самостоятельно — пусть, тем более, это же старший брат. С хорошими прибылями жил новый купец — Ружников Ефрем Васильевич.

Братья постояли в память о родных и доме, помолчали и сели закусывать. Русские люди и выпивать любят, и закусывать.

— Ну, вот и все, — продолжил Ефрем Васильевич, — уезжаем мы все из отчего дома. Пока покупатель не пришел, говорите, братья, что из родительского дома хотите взять себе. Отдам все. Да что там «отдам» — ваше это, не мое! Тебе, Василий, — я думаю, ты, Андрей, не обидишься — как спасителю моему особый почет и уважение. Бери, что хочешь — все отдам. Еще и денег дам!

— Извини, Ефрем, денег мне не надо — свои имеются. А хотел бы, чтобы вы, братья, отдали в мою семью на сохранение икону родительскую — Знамения Божией Матери.

Все замолчали.

Ефрем встал, налил в рюмку коньяк, выпил, подошел к Василию, обнял, расцеловал троекратно и сказал:

— Бери!.. У тебя она целей будет. Мое слово — закон! Как думаешь, Андрей?

— Я не против. Тоже считаю, что у Василия она будет сохраннее, да и к церкви у него отношение особое — правильное что ли, как у родителей. Про меня и речь не идет: и в церковь особо не хожу, и курю, и пью. Так что я согласен.

Андрей налил себе водки, выпил, подошел к Василию, расцеловал. Братья обнялись.

— Ну а ты, Андрей, что хочешь взять? — спросил Ефрем.

— Да мне вообще-то ничего не надо. У меня пусть немного, но все есть. А хотел бы я попросить тебя, Ефрем Васильевич, если торговлю будешь расширять и в Архангельске дело

начинать, взять меня туда приказчиком. Но чтобы и в Мезени за мной наше общее дело осталось.

— У меня там торговля имеется — с покойным Сумковым связана, а хотелось бы, конечно, свое. Я не только возьму, но и сам хотел просить тебя взяться за это дело. Уж больно хорошо у тебя получается: и с бумагами, и со счетами, договорами всякими. Умный, вдумчивый ты и не спешащий. Я буду очень рад, если ты будешь торговлей заниматься у меня в Архангельске. И Мезень, конечно, остается за тобой. Более того, скажу вам, братья, по секрету, держу мысль поставить здесь, на Мезени, завод лесопильный. Я с Ванькой уже и место присмотрел: в устье реки Каменки.

Наступило молчание. Братья удивленно смотрели на Ефрема Васильевича.

Первым очнулся Василий:

— Да где же такие деньги взять, чтобы завод поставить? Это же не просто завод, но и поставка леса по реке и доски по морю в другие страны, это корабли, порт нужен. Вон же на Мезени такой же завод стоит — русановский. Так ведь-то Русанов, купец первой гильдии, почетный дворянин, в Петербурге живет, все входы-выходы там знает, не чета нам. Да, замахнулся, брат!.. Молодец, конечно! Но?.. Но если даже все капиталы наши сложить — да и то вряд ли денег хватит. Если только клад найти!..

— Неплохо бы! Клад найти — и больше работать не надо, — засмеялся Андрей.

— Может, и клад, — задумчиво произнес Ефрем и налил себе коньяка. — Ладно. Это потом, со временем. Скажи-ка лучше, Василий, ты все туда, ближе к Печоре торговлей заниматься будешь? Может, тоже на Архангельск? Все бы вместе сложились, смотришь, и в столицу переехали бы. Пусть не мы, так дети наши.

— Эх, Ефрем, если бы ты побывал в тех местах — удивился бы, какая там красота. Мне там одно место уж очень сильно

нравится, на речке Оме — так похоже на наше, на Березник: река, березовая роща, тишина. Старым буду — туда поеду. Что касаемо совместных наших дел, то ведь я продолжаю совместную с Андреем торговлю, как когда-то мы договаривались. А ты сам от договоренностей наших отошел. Ну и бог тебе судья. Ты всех нас обогнал, и это хорошо. Ты и отличаешься от нас главным — желанием быть лучше других. И мы тебе всегда будем опорой. Но я, братья, что-то уставать стал, все больше отдохнуть хочу. Дмитрию, наверное, буду дело передавать.

— Брось. Рано еще передавать. А я думал — вместе будем! Жаль, — сказал Ефрем.

— Извини, брат, но мне кажется, ты сам от нас отделяешься. Не договариваешь чего-то. А ведь, вспомните, когда-то хотели единую компанию создать — «Братья Ружниковы».

— Не спеши, Василий, — еще откроем! Еще о нас не в Мезени, в Архангельске заговорят, а может быть, и в Петербурге знать будут. Подожди — все будет! — громко сказал Ефрем.

— Ну и дай-то бог! — ответил Василий. Повернулся к темной от времени иконе и перекрестился двумя перстами. Потом подошел к Ефрему, обнял, расцеловал, перекрестил и повторил: — Дай Бог!..

Пригласили жен, детей и стали славить своих предков, родителей, родной дом. Хорошо и весело сидели за столом, с песнями, с плясками. Многочисленную родню пригласили, соседей — праздник продолжался всю ночь. Никому не возбранялось выпивать, но курить в доме не разрешили. Хорошо гуляли. Счастливо!..

Прощай, Березник! Здравствуй, Мезень!..

Мезень

Ефрем Васильевич Ружников, известный в Архангельской губернии купец, стоял на берегу речки Каменки, в месте

впадения ее в реку Мезень и смотрел, как к построенному им лесопильному заводу подплывали с верховьев реки первые плоты с лесом, как сноровисто рабочие баграми растаскивали бревна, направляя их к подъемным лебедкам, а другие рабочие так же споро цепляли их тросами, и бревна медленно ползли вверх, где третьи рабочие скатывали их в огромные штабеля. А в закрытом цеху стояли две пиловочные рамы, и нанятые в Архангельске рабочие-рамщики зажимали эти бревна большими железными скобами и направляли их на визжащие, бегающие вверх-вниз острые пилы. И уже с другого конца рамы выходила пахнувшая свежестью и севером знаменитая, твердая, как камень, беломорская доска. И над всем этим огромным хозяйством возвышалась и дымилась белым дымом от сгораемых опилок высокая, видимая на много километров, красная кирпичная труба.

Шесть долгих лет потратил Ефрем Васильевич на решение на строительство завода, возведение, обучение рабочих, приглашение инженеров и рамщиков, строительство барачков и домов. На пустом месте, у Ледовитого океана вырастал целый рабочий поселок. А сколько денег было потрачено, о том знал только сам Ефрем Васильевич. У братьев денег не просил — зачем, еще придется в пайщики брать. Да и свои сыновья подрастают. А вот управляющий свой, не вор, нужен. Подумал о младшем брате, об Андрее; но тот вряд ли потянет производство, да и хорошо у того получается с торговлей и здесь в Мезени, и в Архангельске. Иван, сын? Василий, брат?..

Беда пришла неожиданно. Если на него раньше кляузы писал знаменитый на севере купец и лесопромышленник Николай Русанов, у которого выше по реке Мезень стоял свой лесопильный завод, и он еще раньше Ефрема Васильевича поставлял знаменитую беломорскую доску за границу, — ну, на то Ефрему Васильевичу и наплевать! Кому надо, денег дать, и та жалоба пойдет по инстанциям да с отписками.

ми — голова треснет концы искать. Сейчас жалоба в суд поступила от человека, от которого он, Ефрем Васильевич, никак этого не ожидал — от вдовы когда-то давно погибшего архангельского купца Никифора Лукича Сумкова. Она обвиняла Ефрема Васильевича в том, что он тогда, одиннадцать лет назад, убил и ограбил ее мужа — отсюда у него и деньги на завод! И это купчиха Сумкова, с которой у Ефрема Васильевича все эти годы были особые отношения? «Ах, Авдотья, Авдотья — и все-то тебе мало. Да я твоего мужа у смерти-то из рук вырвал», — сказал первые слова Ефрем Васильевич, когда за ним с бумагой об обвинениях и аресте приехал мезенский околоточный надзиратель. И потащили по допросам Ефрема Васильевича. Вот тогда и вспомнил про брата Василия, и попросил на заводе похозяйствовать — стать управляющим. В помощь старшему сыну Ивану.

Полгода таскали Ефрема Васильевича по следственным делам и посадили в острог — больно несговорчивый был, ругал полицейскую власть, да и судебным доставалось. А Авдотью Сумкову вообще проклял. Брат Василий Васильевич, да и дети, уже взрослые, подтвердили и рассказали под присягой, как приехал купец Сумков к ним в Березник, как Василий заболел и с Никифором Лукичом поехал Ефрем, как их потом обоих, замерзших, нашли на реке пошедшие на охоту дети. Как спасали в бане. Ефрема Васильевича спасли, а Никифор Лукич не приходя в себя умер — сердце, наверное, не выдержало. Да и отличался он безудержным употреблением коньяка. Жена Сумкова, Авдотья, отрицала пьянство мужа, но ее домашние под присягой подтвердили, что их хозяин пил сильно и не раз хватался за сердце, а иногда падал бездыханный. Допрошенный доктор архангельский тоже сказал, что купец употреблял вино без меры и особенно коньяк, и сердечко у него было «ой, какое плохое». А насчет денег — так построен завод в складчину, на деньги всех братьев Ружниковых, а они не один десяток лет торговлей занимаются, и деньги

у них имеются, и немалые. Братья Василий и Андрей подтвердили (под присягой!), что завод построен на общие деньги и Ефрем является лишь главой фирмы лесопромышленников Ружниковых. И даже договор заверенный показали. Хотя могли и не показывать. Не в чести у купцов северных было не верить друг другу на слово. А тут братья!..

Суд вины за Ефремом Васильевичем не признал. Вдова, Авдотья Сумкова, поняв, что проиграла, да еще и платить придется адвокатам нанятым, бросилась к ногам Ефрема Васильевича, просила прилюдно простить (бес попутал) и зла не держать. Боялась — выставит купец встречный иск и дом и магазины отберет. Правда, узнала, наконец, какой лютой смертью кончил ее муж, и ужаснулась. Ефрем Васильевич по доброте душевной и помня (про себя), чем обязан семье Сумковых, плюнул на нее и сказал: «Дура ты, Авдотья!» и иск не подал. А зачем подавать — тогда ведь могли всплыть его непростые отношения с Авдотьей Сумковой. Зачем? И Авдотью предупредил: «Скажешь — по миру пушу! И тебя, и твоих детей!..»

Ефрем Васильевич, исхудавший и сильно постаревший, устроил для братьев пир на заимке, на берегу моря, под хорошую уху, морской воздух, а главное, в тиши, от людских глаз и ушей подальше. Море белое от отражающегося неба, небо белое от солнца, чайки белые и песок белый. Такая благодать — вечно бы сидел на берегу и смотрел!.. Благодарил, обнимал, целовал, обещал озолотить. Андрей-то Васильевич обрадовался — он в последнее время поиздержался и долгов наделал — ездил в Петербург по делам торговым, да и проигрался в карты да на дам потратился. Дорогие они там, в столице. И в казну Ефрема Васильевича залез, чтобы расплатиться — тот не знал, а то бы враз в шею выгнал бы и не посмотрел бы, что брат. Вот и радовался, что Ефрем на радостях денег даст, да он и вернет — положит взамен украденных. А, может, попробует, да и отыграет?..

Ефрем Васильевич Андрею Васильевичу денег дал прилично. Андрей с нескрываемой радостью взял. Василий Васильевич от денег отказался — братья все-таки! И даже за расходы на подлог по документам и договору денег не взял. Ефрем, выпив, плакал, обнимая братьев. «Спасителями» называл. И опять пил, и опять плакал. Андрей напился быстро и уснул за столом. Василий не пил (вера не позволяла), сидел хмурый, а потом все-таки спросил у Ефрема:

— Неужели, Ефрем, вдова-то сумковская права?

— Что ты, Василий, как можно о таком даже подумать! Да ты сам же видел, сколько денег при себе у Лукича было, я все вдове отдал, и она это на суде подтвердила.

— А завод-то тогда на какие деньги построил?

— Так я же занял. Ей-богу, занял! (Перекрестился.) Только тот человек просил имени его не называть. На кресте обещал. Вот на этом — дедовом, — достал и показал серебряный четырехконечный крест с восьмиконечным крестом внутри вместо распятого Христа. Поцеловал и, обернувшись по сторонам, как будто кто подслушивает на пустынном берегу, наклонившись к брату, тихо прошептал: «Честно тебе признаюсь — женщина это. Только прошу тебя, Василий, никому об этом не говори...»

— Ну, коли женщина — другое дело. А то я уж подумал нехорошее... Женщина — это ладно! Давай, брат, я тебя обниму.

Обнялись, расцеловались троекратно, как у русских людей повелось.

— Ты, Василий, лучше мне скажи: как ты согласился подложные документы-то сделать? Я, честно, думал — ты никогда на это не пойдешь.

— Да, я этот грех никогда уж не отмолю. Адвокат-то архангельский, про которого ты тогда на свидании сказал, как-то сразу все понял, когда деньги увидел, бумагу сам сочинил, только подписать нам с Андрейкой оставалось. Ох, грех!..

Братья три дня отдыхали на берегу моря: рыбу ловили, уху варили, говорили обо всем, планы на будущее, как раньше, строили, о родителях, о детях вспоминали. Хорошо-то как!..

Ефрем Васильевич, вернувшись домой после своих злоключений, весь ушел в работу: надумал завод расширять, выделил денег на строительство порта — доску-то надо возить за границу. В этом они с Русановым сошлись. Даже выпили и по рукам ударили. Лодки новые построил, и уже ушли они по морю за рыбой за Печору и аж к Енисею. И такую рыбу вкусную привозили: чир, омуль, хариус, осетр, палтус. Распробовали — понравилась, по зимнику в столицу отвезли, там тоже попробовали и ахнули — до чего же рыбка северная хороша. И норвежцы попробовали — и поплыла на следующий год рыба напрямиком с Печоры и Енисея в Норвегию. Богател Ефрем Васильевич. Василия, брата, от управления заводом отстранил, а тот и не возражал, и поставил над заводом старшего сына, Ивана, взрослого, злого до работы, толкового и грамотного парня.

Через год на лесопильном заводе Русанова возник пожар — завод вместе с биржей готовых для отправки досок сгорел дотла! Подозревали, что это Ефрема Васильевича рук дело, но как докажешь?

И пока не один год восстанавливать завод будет почетный дворянин Николай Иванович Русанов, поставки леса и доски перехватил к себе Ефрем Васильевич. Свято место пусто не бывает!

И все-то хорошо у Ефрема Васильевича — шагает по земле широко, хозяином; связи уже и в Петербурге появились, куда собрался отправить, в помощь брату Андрею, младшего сына Афанасия — пусть учится торговому делу. Да и служи нехорошие с Петербурга стали приходиться: пьет братец, с девками гуляет, в карты играет. А так, все сыновья при деле: Иван на заводе; Петр торгует мехами, рыбой, вином; Афанасий, вот, в Петербурге, где свой торговый дом открыли...

Да и у самого еще планов!..

Как грянуло! Андрей-то, братец, все накопленное спустил — проиграл в карты да на девок потратил. И долги огромные наделал. На пятьсот тысяч рублей! И все на Ефрема выписаны! Закон императорский суров: не отдашь — сам в тюрьму, а имущество на распродажу, в счет погашения долгов.

И за всем этим, посмеиваясь, стоял Николай Иванович Русанов.

— Это все Ефремка сделал, я знаю! Его рук дело. И Сумкова он убил и ограбил. Я же вам говорил, что надо вдове в судебных делах помочь, а вы все: «Зачем, да зачем. Не наше дело, пусть между собой на суде разбираются». Вот и разобрались. Братцы-то как его от петли выкрутили. На Ваську — тихоню да правдолюба — и вообще это не похоже. Ради братца на липовые договора пошел. Старовер, мать твою... Та еще семейка. Андрюшка — пьяница и бабник, в Петербурге домом торговым управляет. Тоже вороватый, как Ефремка, да еще и бабник, и картежник. И как он у вас тогда выкрутился? Где денег-то взял? Ефремка денег не даст — быстрее удавится. Если только Васька, добрая душа, дал, — кричал дико и ходил-бегал по огромному, отделанному по последней

моде красным деревом и дубом кабинету в своем петербургском доме знаменитый лесопромышленник, купец и дворянин Николай Иванович Русанов. И опять кричал: «И как они — мужики лапотные, завод-то поставили? Ведь ясно же, как божий день — украли или убили кого! На Ефремку-то посмотреть — убивец вылитый, весь седой, вечно недовольный, злой и завистливый. И сейчас что — нет у меня завода! Голь и нищий я! Я, дворянин, знаменитый лесопромышленник Русанов — и нищий! Суки, сволочи, бляди!.. И что мне делать, как мне завод вернуть? Как Ефремку наказать? Он же, если я даже денег найду на восстановление, все за это время захватит, все договора к нему перейдут. Англичане что — ждать будут? Весь лес под ним будет! Может его сжечь?.. Как меня! Чего молчите?..»

Собравшиеся в кабинете самые близкие товарищи именитого промышленника молчали.

— Так ведь не доказано же, что Ефрем это поганое дело сделал? Следствие-то тщательное было. Доказали же, что рабочее в непопознанном месте пили и курили. Вон — сидят в тюрьме! — сказал купец и промышленник, только по пушнине, Антон Игнатьевич Самохвалов.

— Мне-то с того что? Да по мне, пусть их хоть повесят, мне что — завод вернулся или деньги появились? Ты, Антон Игнатьевич, уж лучше помолчи. А лучше денег дай на восстановление завода. Мало я тебе помогал да из разных неприятностей вытаскивал?

— Я бы помог, да у меня все деньги в деле.

— Во-во, именно, в деле!

Товарищи Русанова — промышленники, купцы именитые вздыхали, предлагали какие-то бессмысленные прожекты, но не со своими деньгами (свои — в деле); потом, выпив рюмку-другую, разошлись, сославшись на неотложные дела.

Один остался Николай Иванович, один и нищий — хоть в петлю лезь. Хорошо еще, что долгов больших нет. Так ведь это не долго — кредиторы быстро найдутся — отдай все!

Сидел в своем кабинете и пил... И выл тихонько, как побитый пес...

В кабинет бесшумно вошел недавно принятый в русановскую контору молодой человек — сын покойного друга Русанова, Ильи Тимофеевича Семенова — Аристарх. Илья Тимофеевич полгода назад в петлю залез, проиграв все свое состояние в карты и оставив семью нищей. Аристарха по доброй памяти приютил у себя Русанов.

— Чего тебе, Аристарх? Не видишь — пью! Скоро, как твой батька, в петлю полезу.

— Вы меня извините, Николай Иванович, что вмешиваюсь, но и пить, а уж о петле думать совсем не время.

— Ишь ты, какой умный нашелся. И что делать прикажешь?

— Позвольте высказать свои соображения, Николай Иванович?

— Ну, говори!

— Батенька мой, как всем известно, все свое состояние в карты проиграл. Вот на картах и надо вам деньги заработать.

— Ты, Аристарх, в своем ли уме? Я что — в карты должен играть? С кем?

— Зачем — вы? Вас любой обыграет. Для этого особые люди имеются. Пусть они Ружникова и вытрясут!

— Ефремку, на карты?! Ха-ха-ха! Ефремка — и с картами! Поди отсюда. Я думал, ты поумней.

— Почему Ефрема, брата его — Андрея.

— Так он не особо богат. А завод-то знаешь, сколько стоит? Тысяч триста! А с него тысяч десять, да и то вряд ли вытащишь. Он, говорят, все в карты спускает... Спасибо за совет, но это пустая трата времени.

— Не скажите. Вот и хорошо, что играет, что азартен. Вы не знаете картежников. Они могут не только свое, но и чужое все проиграть. Модный ныне Федор Михайлович Достоевский хорошо все описал в своем романе «Игрок».

— Не читал. Давай, говори, что ты предлагаешь.

— Я, когда разбирался с папенькиными бумагами да долгами, многое узнал. Я предлагаю...

Разговор был длинный, очень длинный...

— Если выгорит, я тебя, Аристарх, не только деньгами награжу, я тебя сделаю управляющим на бывшем «ружниковском» заводе... или вообще тебе его отдам.

Николай Иванович Русанов пить бросил и ежедневно поздно вечером принимал у себя только Аристарха Семенова.

Андрей Васильевич Ружников не только выпить и на женский пол, не разбираясь, был падок, так еще и в карты поигрывал. И чем дальше, тем азартнее. Раз его уже прокрутили на картах, да как-то выкрутился — отдал долги. Но в этот раз за него взялись профессиональные картежники, игравшие под видом богатых промышленников, купцов заезжих и даже какого-то князя. Они в свое время и разорили Илью Тимофеевича Семенова. А сыночек, Аристарх, это выяснил. Деньги вернуть не смог и в суды обращаться не стал, понимал — не выиграет, а взамен слово получил от картежных профессионалов, что, если надобность возникнет, то может обратиться к ним за помощью — почти бесплатно окажут, только клиента укажи — все остальное за ними. Свое дело хорошо знают — до немецкого Бадена сведения о них дошли...

Прошло два месяца — и вот на тебе, Ефрем Васильевич, — гони деньгу, либо завод отдай, и не только завод!.. Хочешь сказать, что братец твой виноват — пусть в долговую яму и садится? Не, он в залог-то твое имущество ставил. Вот расписки! Все заверены! Да и брата твоего как подозреваемого или свидетеля нигде найти не могут — скрылся куда-то.

Ефрем Васильевич аж рот открыл, когда его вызвали в суд и зачитали общий иск от нескольких именитых петербургских промышленников, известных дворян, в том числе одного князя, с требованием погасить долги. Срок — три месяца!.. И долг тот — полмиллиона рублей!

Андрей, братец, где-то пропал в темных и сырых подворотнях Петербурга.

Уже вдвоем, с Василием, сели, без вина, думать, как отдать долги. Иначе все созданное пойдет прахом, в чужие руки попадет. Ну, братец, ну, Андрей, — услужил!

Ефрем Васильевич просил, умолял все отдать, но только не завод. Говорил брату:

— Завод отдадим, Русанов остальное все возьмет. Он нам жизни не даст. Либо он нас, либо мы его!

Василий кивал головой:

— Все-то тебе мало, Ефрем. Ты, и правда, после того как смерти в глаза посмотрел, остановиться не можешь: все тебе мало, мало! Тащишь все под себя! Вот и расплата. Остановись!..

— Прав ты, Василий, прав, остановлюсь, замолю грехи, отойду от дел. Но ведь сам понимаешь — дети. По миру пойдём. Никто куска хлеба не подаст! Помоги, Василий!.. Спасай!..

Думали, решали, спорили и порешили: все деньги братьев сложить, конторы торговые в Петербурге и Архангельске пока закрыть, готовый к отправке лес продать за полцены, но чтобы деньги сразу были отданы. Лодки продать, рыбаков распустить. Все запасы мехов, рыбы продать за любую предложенную цену. Имеющиеся в домах деньги, золото, серебро, посуду, хрусталь продать. Отдадим — потом накопим. Детей из Петербурга и Варшавы вернуть. У всех знакомых, кто согласится, занять.

Через три месяца, за день до означенного срока, долги полностью были погашены. Судебные приставы были удивлены, а потом восхитились братьями. Русанов, уже подготовивший своего управляющего, Аристарха Семенова, на лесопильный завод Ефрема Ружникова и уже договора на поставку будущей доски заключивший, и задаток, и немалый, под нее получивший, онемел, узнав. Долго бил посуду в своем столичном доме, кидался на всех, орал несвязно, потом затих и, запершись, не выходил из своего кабинета — пил страшно, даже

гадил там же. Всех, кто попробовал войти, обещал застрелить. Сам не застрелился — смелости, наверное, не хватило. Кое-как выломали дубовую дверь, когда Николай Иванович, невменяемый, уснул. Вытащили и уложили в постель — изгаженного! Чуть отошел — отмыли, отпарили в бане, врачи поколдовали с лекарствами, домашние рассолами отпоили, а друзья-товарищи спросили: «Зачем пил, Николай Иванович? У тебя денег сейчас — хватит на два новых завода с новыми рамами. Вспомни, сколько векселей-то да бумаг выдуманных Андрюшка Ружников, пьяный да в картежной страсти подписал. Ты же всех наказал! Не доказано же, что Ефрем Васильевич отношение к тому пожару имел, а ты его наказал. Да как: отдал копейку этим князькам дутым, а все остальное твое! Не с горя пить надо — с радости!..»

Все надо начинать сначала. Все накопленное многолетним трудом вдруг, в миг, куда-то исчезло. Будущее, безбедное будущее, рассыпалось, растворилось, как мираж в северном море. Все надо начинать сначала, а где взять силы?..

Плохо, очень плохо чувствовал себя Ефрем Васильевич Ружников. Только что состоялся разговор с сыновьями, тяжелый разговор — сыновья-то спросили первым делом у отца:

— А как так, отец, случилось, что мы — дети твои, ничего плохого не сделав, вдруг стали нищими?.. Да плевать нам на какого-то дядю Андрея — мы-то здесь причем?

— Да Митьке-красному, вашему брату, еще хуже — у него ничего не осталось, я у его отца, брата своего, все вытащил, а у вас завод да и торговля какая-никакая осталась. Не на пустом месте начинаете.

— Да наплевать нам на твои слова, отец. Ты нас разорил!

— Я вас спас! — крикнул разъяренный Ефрем Васильевич. — Я все у родного брата забрал и не в первый раз, а свое сокрыл — вам оставил. Пошли вон! В-о-н!

Сыновья вышли, а Ефрем Васильевич начал молиться, с трудом вспоминая слова молитвы. Вспомнил, что Ваське-брату отдал когда-то семейную реликвию, святыню, икону Знамения Божией Матери. Подумал еще: «Что же я наделал? Надо у Васьки икону-то забрать». Сердце сдавило, рот открылся, захрипел, хотел позвать на помощь и упал.

Мезенский купец, промышленник, Ефрем Васильевич Ружников, 23 мая 1881 года в 8 часов дня на 77 году от роду, умер...

Брат Василий, сильно постаревший, принес в трясущихся руках на отпевание знаменитую святыню рода Ружниковых — икону Знамения, потемневшую от времени так, что лик Божией Матери был почти не виден, только проглядывались воздетые руки. Похоронили Ефрема Васильевича на мезенском кладбище и поставили староверческий «крытый» крест...

Василий Васильевич брата пережил всего на год и тихо отошел, шепча молитвы посиневшими губами. Смотрел на святую икону и плакал, вспоминая почему-то, как под этой иконой бабка спасала в бане деда, а потом он спасал брата Ефрема. Просил у еле проглядываемой Божией Матери защитить детей своих и весь свой род!..

Положили рядом с братом под таким же староверческим крестом.

Андрей, младший, так и не объявился — пропал где-то на бескрайних просторах огромной, пустой страны...

Ивану, когда умер его отец, Ефрем Васильевич, было уже сорок два года. Он был весь в отца: большой, громкий, злой

до работы, умный, но, как батюшка, любил выпить и погулять с девками. Поднимался рано, раньше всех в доме, смотрел, как растапливается печь, выпивал утренний стакан чая, выходил из дома, поеживался на морозе и уезжал по делам, в первую очередь на завод. После почти полного краха созданной отцом фирмы, выбирались из долгов, из небытия, несколько лет. Трудились сутками — праздников в семье не было, только что сами за рамы лесопильные не вставали, а иногда и вставали, чтобы показать, как надо работать. Хорошо, что русановский завод в головешках лежал, — отстраивался после пожара. Торговлю потихоньку, по копейке восстанавливали, вновь построили корабли и поплыли на Печору, на Енисей за бесценной рыбой. Удачно ловилась и семга, и сельдь. Немалый доход приносила и продажа вина. В торговле особо преуспевал средний брат — Петр Ефремович, как-то все у него ловко получалось, ну вылитый пропавший дядька Андрей Васильевич. Петр торговлей занимался и не раз бывал за границей, особо нравилась ему Польша, ласковая, мягкая, цветущая Варшава. Подолгу он там задерживался. По делам, а может и так, по любви...

Афанасий, младший, осел в Петербурге, где вновь начал процветать их доходный дом. Ездил в Англию заключать договора на продажу прекрасной северной доски, в Норвегию — по поставкам в эту рыбную страну русских рыбных деликатесов, да таких, что у норвежцев глаза блестели. А из Норвегии везли веревки, топоры и «в нагрузку» крепчайший ром. А попробуй не возьми: обидятся и торговать с тобой перестанут. Крепкие корни оставил Ефрем Васильевич — не сломаешь дерево.

Ивану управляться со всем хозяйством было тяжело. Вспомнил про Дмитрия, что после краха отцовской компании остался практически нищим. Отец его, Василий Васильевич, все отдал-распродал, чтобы спасти их отца, Ефрема Васильевича. Добро, конечно, помнить надо. Так свое-то —

оно свое. Пригласил Дмитрия Васильевича на свой завод — управляющим. А чего ж не пригласить: тот не пил, не курил (отец таким воспитал), был набожен, честен, легок на подъем и... не женат. И еще одна черта была в нем от батюшки, Василия Васильевича — был всегда спокоен, никогда не ругался, слова всегда теплые для души говорил. И был необычайно грамотным. Проживал там, что занимался небольшой торговлей там, к реке Печоре. Хватка купеческая была, а жадности не было. Все Иван ему говорил: «Вы, Васильевичи, какие-то уж слишком добрые для нашей фамилии. И в кого вы такие?..» Но управляющим взял — уж лучше свой, чем со стороны. Стороннего может и Русанов перекупить.

И занялись расширением завода. Поставили шесть лесопильных рам, что увеличило объем пиловочника. Построили свою электростанцию. По настоянию Дмитрия Васильевича построили новые бараки для рабочих и даже провели в них и на улицы рабочего поселка свет. Поселок стал выглядеть богаче Мезени. И почти все мужское население Мезени работало на новом заводе. Вечно бы так жить. Но помня историю разгрома фирмы, часть денег Иван Ефремович складывал в кубышку, а кубышку держал в Англии, в банке — мало ли чего. По России стали ходить непонятные люди — социалисты, кричащие на каждой улице о революции. И в таком медвежьем углу, как Мезень, стали кричать.

Если в царские времена ссылали сюда всех именитых бояр: Артамона Матвеева, Василия Голицына, семейство самого Аввакума, то эти — новые ссыльные — были все молодыми, грамотными, часто из хороших семей и не только парни, но и девки! Тому, что грамотные, особенно радовался Дмитрий Васильевич — инженеры и рабочие для завода, и бесплатно — хорошо, и платил хорошо, и жилье давал. Но чтобы бабы — да против царя!.. Такое в голове не укладывалось.

— К вам, Митрий Васильевич, — сказал бравым голосом городской с одной полицейской гомбочкой на витом наплечном шнуре, — ссыльный. На работу бы надо принять. Вы, как всем известно, к политическим ровно относитесь.

— Ошибаешься, Митрофан Петрович, я хорошо отношусь к труженикам. Ладно, ко мне, так ко мне. Я потом сообщу, что решил.

— Мне ждать?

— Зачем? Идите. Куда он денется — убежит?

— Слушаюсь, Митрий Васильевич, — городской повернулся к ссыльному. — Смотри у меня, не балуй, а то враз дам меж глаз, только искры посыплутся. Сицилист, мать твою!

И, показав здоровенный кулак, городской вышел. Дмитрий Васильевич оторвался от бумаг — перед ним стоял молодой невысокий крепыш, голубоглазый, с вьющимся чубом. Умно и насмешливо смотрел и улыбался. Подумалось: «Ох, бедные девки в Мезени!»

— Ну-с, садись, мил человек, в ногах правды нет, — произнес спокойным голосом Дмитрий Васильевич. — Давай знакомиться.

Молодой человек удивленно посмотрел на хозяина кабинета (к такому обращению он не привык), улыбнулся и несколько не стесняясь, прошел к столу и сел на стул. «Смелый или наглый?» — подумал Дмитрий Васильевич.

— Ну-с, и как вас зовут, молодой человек? Откуда вы родом и что умеете делать?

— Зовут Климент Ефремович. Фамилия Ворошилов. Рабочий с Луганска, — и улыбнулся широкой улыбкой, обнажив хорошие ровные зубы.

Опять смешно подумалось: «Бедные девки. С такой-то улыбкой, с такими глазами и чубом — и революционер?»

— Ну а профессия-то какая-нибудь у тебя есть? Революционер — не специальность.

— Я — слесарь. На заводе металлургическом работал. А революционер, ошибаетесь — профессия.

— Да ну? Я и не знал, что такая профессия есть. А то, что слесарь — хорошо. Нам на заводе грамотные рабочие очень нужны. Ты, Клим, как — работать будешь или, наоборот, рабочих призывать, чтобы не работали — бастовали?

— Как получится. Посмотрим.

— Смотрю я на тебя и удивляюсь. Слесарь, грамотный рабочий, а с лозунгами да револьверами по улицам бегаешь. Жениться тебе надо — сразу успокоишься. Или женат?

— Нет еще. Некогда.

— А, революция мешает? Женись. У нас в Мезени девки такие хорошие. Домовитые. Детей тебе нарожают. А то у вас, у революционеров, такие подруги, что не дай-то бог. Тут до тебя была одна ссыльная, Инессой звали, ну и имечко, вылитая жидовка, не работала, хотя и грамотная была, могла бы в школе детей учить. Все папироски курила. И что наши мужики в ней нашли? Скелет кривоногий. В очередь к ней стояли — никому не отказывала. Наверное, в постели агитацией занималась? (Рассмеялся.) Бабы мезенские уж и увещевали ее, корили, били, пообещали утопить в Мезени, ничего не пошло. Вот жалобу написали и отправили от нас, слава богу.

— Вы имеете в виду товарища Арманд? Я ее встретил, когда меня сюда везли. Это наш партийный товарищ. Ее сам товарищ Ленин уважает и в пример ставит. Она подруга товарища Крупской.

— Мы люди темные. Нам за вашими столичными штучками не угнаться. Просвети — Ленин кто? А Крупская?

— Товарищ Ленин — вождь нашей партии, социал-демократов. Крупская — это жена товарища Ленина.

— А-а! Тогда я не завидую товарищу Крупской. И чего же она Крупская, если муж — Ленин?

— Это партийная кличка. А так, товарищ Ленин — Ульянов.

— Подумать только, как у собак — клички. Шарики, да и только. И все равно непонятно... Ладно, будет об этом. Спустишься вниз, в контору, вот тебе бумага на работу, — Дмитрий Васильевич что-то быстро написал и протянул листок молодому человеку. — Они тебя оформят. Работай, Климент Ефремович, учи наших рабочих премудростям слесарным, а не этой ерундой про социализм. И женись — на свадьбу пригласи, точно приду!..

Молодой человек вышел, а Дмитрий Васильевич посмотрел ему вслед и вновь, со смехом, подумал: «Бедные девки!» И стал дальше просматривать бумаги...

Завод работал день и ночь: рабочие развязывали пригнанные плоты, поднимали бревна в штабеля, рамы непрерывно визжали, врезаясь в твердь северного дерева, доски складывались и отправлялись на сушку. Высушенные, связывались в пакеты и везлись на пирс, в морской порт на погрузку, и дальше эта доска бурным морем, огибая половину Европы, шла в закопченную от угля Англию, где, наверное, со времен королевы Виктории, лес был почти весь вырублен.

Хорошим был управляющим заводом Дмитрий Васильевич: не ругался, голос не повышал, с рабочими вежливо разговаривал и силен был — как увидит, рабочие напрягаются, пытаясь бревно сдвинуть, хватъ ручищами за край бревна и тащит, как ломовая лошадь, только жилы на шее вздуются да лицо, под стать волосам, красным становится. Уважали. Удивлялись только — мужик видный, а не женат.

А вот веселый, холостой Клим Ворошилов в первый же выходной пошел на гулянку, что проводила заводская молодежь. Девушкам чубатый, улыбающийся слесарь очень даже понравился. Ребята заревновали. Весело гуляли на освещенной диковинным электричеством площадке под гармошку и балалайку. И водку пили. А как без нее — рабочий класс! А Клим стал в серединку освещенного кружка и на-

чал укорять рабочих, что спаивают их капиталисты, отрываю от классовой борьбы... и получил. Очнулся, а над ним с холодным сырым платком склонилось личико с черными-черными глазами и такими же черными волосами. Сразу видно — не местная девушка. Промычал разбитыми губами: «Как тебя зовут?» А в ответ прозвучало: «Гиля... Гиля Горбман. Бестужевка. Ссылная. Я здесь, на заводе, учителем». — «Помоги мне, Гиля, подняться. Жаль, не понимают они классовой борьбы. Ничего — поймут. Пусть попробуют не понять! Заставим!..»

Гиля (Голда Давыдовна Горбман, одесская еврейка, политссылная) помогла побитому Климу Ворошилову подняться и проводила его до барака.

А управляющий заводом, Дмитрий Васильевич, как в воду глядел: через полгода Гиля и Клим решили пожениться. Но Гиля была иудейкой, и церковь не разрешила молодым повенчаться. Только если Гиля станет православной. Клим был против всех этих поповских условностей. Но Гиля вдруг заупрямилась и отказалась жить вместе без венчания.

О проблеме молодых узнал Дмитрий Васильевич. Нравился ему этот веселый, улыбчивый, грамотный и непьющий рабочий.

— Вот что, Клим, в Мезени есть церковь Вознесения Господня, она построена нами — Ружниковыми. Я договорюсь, там вас обвенчают.

И обвенчали, и стала иудейка Гиля православной Екатериной, женой будущего героя, красного наркома, орденоносца, маршала Климента Ефремовича Ворошилова. Но это будет потом. А сейчас молодые люди были счастливы. К молодым на свадьбу пришел поздравить сам управляющий заводом Дмитрий Васильевич Ружников. Пожелал молодым счастья. Удивился, что такое бывает: два человека, родившиеся и жившие далеко на юге империи, встретились здесь, на севере, у Белого моря. Значит, есть Бог. И сказал, чтобы

любили друг друга и помнили, что эту любовь они встретили здесь, в Мезени.

— Ты, Дмитрий, прекрати с рабочими дружбу водить. К политическим, говорят, хорошо относишься? Мне околоточный надзиратель все рассказал. Даже в нашей, нами построенной церкви ссыльных венчаешь! Не твоя это церковь — мною и Петром построенная. Так что сам посещай, а других без нашего согласия не води. И с рабочими заканчивай за руку здороваться. Их дело — работать. Твое — ими управлять! Хватит того, что я, по твоей милости, столько денег вбухал в новые бараки, школу, фельдшера содержу, баню открыл, свет электрический провел. Кому — рабочим? И все из-за тебя. Эти расходы — твои расходы! Кстати, отец говорил, что икону-то из нашего дома в Березнике твой отец себе прибрал. Верни — наша она! Я бы давно забрал, да Петька все за тебя заступается. Но все — хватит! Завтра же икону ко мне домой принесешь. И на заводе порядок наведешь, иначе, знаешь, что бывает с теми, кто мне поперек становится...

— Ты, Иван Ефремович, не пьян ли, чтобы такое мне говорить? Да икона эта — единственное, что у нас в семье осталось. Все отдал мой покойный батюшка, чтобы отца твоего, Ефрема Васильевича, от тюрьмы спасти да от полного разорения. Или запамятовал? А ты забыл, что отец мой спас твоего отца, когда мы его тогда, на реке, нашли замерзшего? Вот тебе икона! — и Дмитрий Васильевич, добрый, тихий Дмитрий Васильевич, вытянул вперед руку и сунул под нос Ивану Ефремовичу три сложенных перста, и повторил: — Вот тебе икона! А с завода я и так ухожу. Уезжаю я, Иван Ефремович. Насовсем.

— Как уезжаешь? — оторопело смотрел на брата Иван. — А мы?.. А завод?.. Ты что, Дмитрий, обиделся?.. Брось, сгоряча я, не подумав, сказал, вырвалось. Извини, Дмитрий, работай, делай, как считаешь нужным. Только не уходи!

— Ухожу я, Иван Ефремович. Переезжаю «во двор» к Кирилле Маслову в Ому.

— Ты с ума сошел — «во двор»? Из-за той девчонки, дочки его, Анны? Вези ее сюда. Сколько уж лет маешься по ней.

— Не отдает! Три года упрашиваю, не отдает. А она бежать не хочет — против родителей говорит, что не пойдет. Они же с сестрой сироты, ими воспитаны. Они для нее больше чем родители. А я ее люблю, потому и ухожу!

— Ой, Дмитрий-Дмитрий, что же ты делаешь? Увел бы силой, да и все.

— Не могу Иван, силой не могу, против воли ее. Люблю, потому и не могу.

— Вот вы, Васильевичи, все такие. Мы бы, Ефремовичи, и спрашивать не стали — сразу бы на сеновал — и все... Ох, Дмитрий-Дмитрий, беда с тобой. Ну, раз любишь — иди. Эх, нам бы такую любовь, может, тоже все бросили бы — и как в омут с головой. Да где она, любовь? На свадьбу не забудь пригласить. Петра с Андреем вызывать?

— Как без вас — без братьев? Я им сам приглашение пошлю.

— Береги тебя Бог. Ты меня, Дмитрий Васильевич, прости, что такое сказал. Помню я, хорошо помню, до смерти буду помнить и детям накажу, кому мы и отец наш, Ефрем Васильевич, всем в этой жизни обязаны.

Братья обнялись и расцеловались...

Иван на свадьбу не попал. Умер скоропостижно Иван Ефремович 2 декабря 1902 года в первой части дня.

Положили рядом с отцом...

Фирма перешла к Петру Ефремовичу...

Дмитрий Васильевич переехал «во двор», в Ому... Вот что любовь с человеком делает... Прощай, Мезень...

ОМА

Кирилл Анисимович Маслов, выходец из известной семьи поморов, как все предки походил-походил по морю, да ближе к старости вместе с супругой и осел в красивой деревеньке в несколько десятков дворов на берегу одноименной реки, среди русских берез. И называлась та деревенька Ома. Денег у Кирилла Анисимовича было много, очень много и золота было много. Откуда — неизвестно! Но было. Жил бы да поживал Кирилл Анисимович, но все беспокоился — детей не было, кому передать свое богатство? Хотел в церковь — грехи замаливать, да много денег было, да и все отдать жалко. Беда — деньги есть, а семьи нормальной нет. Нет, конечно, жену сильно любил, но без детей как-то не то... И порешили они с женой, и взяли в дом двух девочек-сироток — Татьяну, старшую и Анну, младшую.

Девочек растили в строгости, но в любви. Старшую, когда время пришло, замуж отдали, за невестой дали денег на дом и скотину. А вот младшую отдавать в семью отказались. «А с кем мы останемся, когда совсем старыми будем? Нет, нет и нет, выдадим только за того, кто к нам «во двор» придет», — говорил всем Кирилл Анисимович. Желающих появилось — и каждый с любовью к младшей — Анне и... особо, к самому Кириллу Анисимовичу. Наперебой: «Мы для тебя, Кирилла Анисимович, самые лучшие женихи...»

Очень любил в Ому наезжать Дмитрий Васильевич Ружников, еще со времен, когда с отцом торговыми делами занимался. Отец-то, Василий Васильевич, очень любил эти места — родину, Березник, напоминали. Все хотел здесь остаться, да не успел. Дмитрий Васильевич Масловых знал, останавливался в их доме не раз. И девочки на его глазах выросли. Даже на свадьбу к Татьяне приезжал. А маленькая Аня, веселая, шустрая девочка, вытянулась в красивую кареглазую, темно-русую девушку. Влюбился в Анну Дмитрий

Васильевич. Девушке признался (весь красный от стеснения) в своих к ней чувствах, и та не отвергла, и призналась, что тоже испытывает к этому удивительно спокойному, грамотному, красивому (как она считала) человеку взаимные чувства, но пойдет за него только с согласия своих родителей. Страшно было Дмитрию Васильевичу обращаться к Кириллу Анисимовичу за рукой дочери. Все-таки ему почти сорок, а ей и семнадцати нет. А Кирилл Анисимович вроде как и не удивился — как будто знал. Может, Анна проговорила? Вряд ли догадался. И получил ответ: «Молода она, конечно, для тебя, Дмитрий Васильевич, да и вообще молода для замужества. Если и отдавать буду, то только за человека, который «во двор» ко мне придет». — «Я, конечно, знаю твое условие, но побойся бога, Кирилл Анисимович, — виданное ли дело, чтобы мужик сорока лет, не бедный, с работой достойной — и в примачи? Я ведь твою Анну не краду, а в жены прошу с ее согласия и увожу — вот рядом, в Мезень. Ты ведь сам знаешь, лучшей пары для нее не найдешь. Да и если хочешь — переезжай ко мне». — «Я тебя, Дмитрий Васильевич, уважаю и люблю, но мое слово одно — только ко мне “во двор”».

Три года старался уломать старика Дмитрий Васильевич. С Анной встречался тайком. Та всем женихам, готовым переехать в дом к Масловым, отказывала. Не люби и все! А Маслов стоял на своем — только к нему «во двор». Каково взрослому, умному, пусть небогатому (отец-то все отдал — брата Ефрема спасая) в примачи идти. Кирилл Анисимович вытащил последний козырь: «Если придешь, я тебе много денег дам — золотом. Все свое отдам». И уговорил. Не деньгами... Попрошался Дмитрий Васильевич с братьями, с заводом, с рабочими, особо пожал руку Климу Ворошилову. «Ну, будь счастлив Клим с Гилей, бросайте все эти революции, детей рожайте, поезжайте на Украину, там же такая земля... А лучше оставайтесь здесь, в Мезени, я вам помогу устроиться», — сказал на прощание.

Впервые бунтарь и революционер Клим Ефремович Ворошилов пожал крепко руку своему классовому врагу, странному «эксплуататору», Дмитрию Васильевичу Ружникову. В первый и последний раз такое сделал. И Екатерина Давыдовна Ворошилова пришла попрощаться. Даже поцеловала в щеку и тихо при этом прошептала: «Будьте счастливы... и спасибо».

Переехал Дмитрий Васильевич к Масловым, и отгуляли свадьбу в теплый день начала лета, когда еще комар силу не набрал, в доме, а потом на берегу красивой, изогнутой вдоль деревни, богатой рыбой реки Омы. Молодые переехали в построенный заранее Дмитрием Васильевичем, на свои деньги, дом. И с первой минуты были счастливы.

Золото Маслов дал, но немножко. пожалел? Обманул? Ну и что? Главное — Аннушка!..

Есть такая поговорка: «В двадцать лет здоровья нет — и не будет; в двадцать пять ума нет — и не будет; в тридцать лет жены нет — и не будет; в тридцать пять детей нет — и не будет». Все опроверг Дмитрий Васильевич. Уйдя из-за любви к молоденькой девушке, которой он был старше на двадцать лет, в примачи, был ежедневно счастлив! К его уму, необыкновенному спокойствию, прибавилась любовь и ласка. Кроме как «Аннушка, лапушка» жену не называл. И дети — что не год, то ребенок: за десять лет лапушка Аннушка родила ему шесть дочек и двух сыновей. Счастливым стал Дмитрий Васильевич после сорока... Вот и верь в народные поговорки.

Жить в Оме очень хорошо. Это не Мезень. Это маленькая деревня в чудном месте, на берегу очень красивой и очень рыбной реки. А по деревне березы, березы, березы и через них, по земле полосы от ласкового, мягкого солнечного

света. Но и до моря недалеко. Вроде бы и север, Ледовитый океан рядом, а климат... Радость в душе: зимой — зима, летом — лето; дальше, на восток — тундра с тысячами оленей и Печора-река с необыкновенной рыбой. Выше по реке Оме прекрасный лес — строй дома и бани, лугов заливных вдоволь. Северный оазис в тундре. И люди в деревне живут не бедные, работающие, из поморов и староверов. Все труженики в поколениях. Семьи большие, дома крепкие, с пристройками для скотины. Бани топят по-черному, как на Руси из века в век повелось. Любит северный русский человек баню. От всех болезней — баня и веник березовый!

Легко жилось в Оме Дмитрию Васильевичу. Брату Петру писал, что «необыкновенно счастлив в семейной жизни». Занялся торговлей: скупал мясо оленей, меха, рыбу и отправлял через Петра в Архангельск и Петербург, к брату Петра — Афанасию, в торговый дом «Братья Ружниковы». Богател, но к богатству не стремился. Счастье видел в жене Аннушке и детях. И имел огромное уважение среди семей северных за свою рассудительность, спокойствие и природный ум. На сходе выбрали его как самого грамотного волостным старостой. Принял как должное. И волость та — двести верст в длину! Понимал — люди доверили.

— Дмитрий Васильевич, дети-то подрастают, а грамоте не обучены. Может, учителя выпишем для детей? — как привыкла с первого дня замужества, по имени-отчеству, обратилась Анна Кирилловна к мужу.

— Да я уже думал, Аннушка, и вот что решил: построю-ка я в деревне школу, а учителя буду приглашать из Архангельска, на осень-весну, и пусть все дети деревенские грамоте учатся.

— Очень хорошо, Дмитрий Васильевич. Пусть все дети учатся.

Дмитрий Васильевич, наняв мужиков, в одно лето построил новенькую школу, пригласил по осени учителя из Архангельска, заплатил хорошие деньги и, поселив при школе,

обеспечил всем необходимым для жизни, втайне надеясь, что учитель влюбится в какую-нибудь омскую девушку и останется навсегда. Ну а не влюбится, через год за такие-то деньги (!) придет сам. Против обучения детей грамоте никто из деревенских не возражал. Зимой-то что детям делать — только куропаток силками ловить. Успевают учиться. В окрестных деревнях школ не было, и к Дмитрию Васильевичу обратились жители с просьбой принять и их детей в школу. Жить где? Так у всех родственники в Оме — поместятся. На второй год в школе уже было двадцать детей. Дмитрий Васильевич всех детей знал в лицо; а как не знать — свои дети вместе со всеми учились. Правда, одних за партами из-за роста и не видно было, а другие кое-как на скамейку влезали.

Одна из дочерей Дмитрия Васильевича пожаловалась дома, что соседка по парте, девочка из соседней деревни, Аня, перестала ходить в школу — осиротела. Дмитрий Васильевич с Анной Кирилловной недолго думали — взяли сиротку к себе в дом. Лишним ртом не будет. «Входи, лапушка, теперь это твой дом», — сказали маленькой, бедно одетой девочке. Так в семье появилась вторая Анна...

Через десять лет Дмитрий Васильевич выдал Анну, теперь уже Анну Ивановну, замуж, построив для нее дом, дав овец, корову... Это так, к слову, чтобы не забылось.

Доброта к людям у Дмитрия Васильевича не была показушной, она шла от души, от сердца. Эта доброта была в нем самом, от рождения была.

В доме слуг не было. Семья большая — все делали сами. И батраков не было. Не терпел рабства Дмитрий Васильевич. Да, нанимал мужиков на ловлю морского зверя, рыбы, на постройку домов, амбаров, на сенокос, но платил ис-

правно и сполна. Не считался в деревне Дмитрий Васильевич ни богатеем, ни лавочником-купцом, потому что деньги не на своих земляках зарабатывал, а на продажах в Архангельске и Петербурге.

— Тут Афанасий пишет, чтобы я с тобой поговорил, — сказал Петр сидевшему напротив Дмитрию. — В столице объявили подряд на поставку кирпича для строительства фортов в Кронштадте. Кирпич, понятно, особый должен быть: воды не бояться и крепкий, чтобы снаряды не пробивали. Помню я, в молодости ты предлагал построить кирпичный завод, да некогда было, да и денег не стало после тех судебных дел у нашего батюшки из-за делишек дядьки нашего, Андрея. А теперь вот вспомнил. Ты же говорил о таком кирпиче. Расскажи?

— А чего рассказывать? Глина-то великолепная, отсюда вверх по реке. Там берег обвалился, и выход глины проявился, метров десять вширь, а в длину уж и не знаю. Тогда мой отец пробовал из нее кирпичи выжигать — получилось, и хороший кирпич: в воду клади — ничего, бей — не разбивается. Редкостный кирпич, но для печек не подходил — жар плохо держал.

— Покажешь?

— Почему не показать? Когда?

— Давай сейчас. Поехали.

Братя, взяв двух гребцов, поплыли на лодке по реке. Плыть пришлось недалеко — верст десять. Выход глины был не по берегу реки, а через узкую, скрытую кустами протоку, лодка попала в маленькую тихую заводь, берега которой резко уходили вверх и отливали темно-вишневым цветом.

— Вот это да! — восхищенно воскликнул Петр.

— Давайте вон туда, — Дмитрий показал гребцам. — Там мы с отцом всегда приставали. И кирпичи там же выжгли. Несколько штук должно остаться. Правда, времени прошло много — целы ли?

Лодка пристала к берегу. Петр попросил гребцов готовить еду, а сам с братом поднялся вверх по склону. На заросшей кустами и травой поляне обнаружилась печь для обжига и развалившиеся от времени деревянные колодки для пресования глины в кирпич. Обнаружили и несколько готовых красных кирпичей.

— Ты посмотри, посмотри, Митрий, — кричал в восторге Петр, — какие кирпичи, как новенькие — и через столько лет. Вот твой отец был с головой, точно.

— Я хочу тебе сказать, что такая глина, только похуже, есть и в Оме. Я думаю, тоже надо кирпич обжигать. На те же печки.

— Нет, какой кирпич, какой кирпич! — не слушая брата, продолжал восхищаться Петр Ефремович. Так, забираем с собой кирпичи, глины наберем и поехали домой... А, впрочем, давай здесь заночуем и осмотрим все повнимательнее.

Братья провели остаток и половину следующего дня за осмотром месторождения глины. В тридцати метрах от берега был вырыт шурф, и на глубине двух метров наткнулись на слой глины. Больше метра нанятые рабочие, они же гребцы, прокопать не могли — шла тяжелая глина.

Ночь провели у костра. Дмитрий молчал, вспоминая отца, а Петр Ефремович мечтал, как они получают разрешение на добычу глины и обжиг кирпичей. «У меня все и в Архангельске, и в Петербурге схвачено, все смазано, еще добавим денег и быстро решим. Труднее будет получить подряд на поставку кирпича. Если выиграем, надо решить, где завод строить: здесь или в Мезени? Как доставлять кирпич в Петербург да еще в Кронштадт? Как бы это все в копейку не обошлось?» — Петр Ефремович говорил сбивчиво, но пыл сбав-

вил. Налил из фляжки водки, закурил папиросу. Дмитрий Васильевич не пил, не курил — старая вера не позволяла. Единственный из всего рода соблюдал строгость староверческую. Петр и Афанасий давно привыкли к столичной и заграничной жизни — какая еще вера? Условности все это!..

Петр выпивал, курил и посчитывал, во что обойдется ему новый завод, если он подряд получит, и какой может получиться доход.

— Если, Митрий, все получится, то клеймо будем ставить на каждый кирпич: «Братья Ружниковы», — сказал Петр, поднялся с чаркой в руке и крикнул в ночное, светлое северное небо: — За наш род! За успех! — Выпил и обратился к Дмитрию: — Митрий, ты на этой иконе, Защитнице, помолись, чтобы помогла в таком непростом деле...

— Как ты можешь, Петр, такое говорить — в ней же душа нашего рода, а не деньги! Что Иван, покойный, что ты с Афанасием — все на деньгах помешались! Ну куда вам столько денег? Детям? Так они сами, своим трудом должны кусок добывать, а иначе на печку лягут и ножки свесят — все-то если будет. Социализм и равенство всех. Так говорил ссыльный Клим Ворошилов.

— Никогда никакого равенства между людьми не будет. Ты же сам сейчас сказал, что даже мы, братья, разные, а люди... Нет, всегда одни будут к чему-нибудь стремиться, а значит подчинять себе других. Всегда! Давай, Митрий, выпьем, чтоб нам подчинялись... И что плохого в том, что мы хотим сделать знаменитый кирпич, из которого построят военные форты, и они будут охранять государство? Мы, Митрий, самые нужные люди в государстве. На нас государство держится. Нас не будет — и государства не будет!.. Кстати, я памятники каменные поставил на могилах Ефрема Васильевича и Ивана. Может, и ты своему отцу поставишь?

— Ты о чем, брат? Знаешь же, что староверам каменные надгробия не ставят. Только деревянный крест!

Вечером следующего дня были в Мезени. Петр, энергичный, весь в отца, сразу развил бурную деятельность: нашел лучшего каменщика-печника. Показал ему кирпич и глину. Тот зацокал языком — хорош кирпич! Долго мял глину, нюхал, обливал водой, вновь мял между пальцами и, наконец, сказал:

— Тут, Петр Ефремович, особый обжиг нужен. Эта глина не для печек. От жара кирпич из такой глины может треснуть. Она для кирпича, который в воде может стоять. В самый раз!

Петр Ефремович задумался, а потом спросил:

— Скажи-ка, Харитон, а ты не слышал про глину, которая не для кирпича предназначена?

— Я понял, что ты, Петр Ефремович, имеешь в виду. Мы с прадедов печи *ложим*, в глинах разбираемся. Сам не видел, но отец мне говорил, а ему дед, что где-то здесь, в наших местах, есть выходы какой-то особой глины, где камни стеклянные, но необычайно твердые попадают. Этими камнями, кто имеет, стекло хорошо резать. Как масло ножом. Но где такая глина, не знаю.

— Узнаешь — скажи, хорошие деньги заплачу. Ладно, поговорили и забыли. Ты сможешь обжечь такой кирпич, как говорил?

— Попробую, Петр Ефремович.

— Мне надо, чтобы на кирпиче стояло мое клеймо «Братья Ружниковы», — Петр взял лист бумаги и нарисовал эскиз клейма. — Вот такое.

— Попробуем. Форму сделаем. А для большого выпуска, Петр Ефремович, лучше завод ставить и формы из металла делать.

— Сделаешь нужный кирпич, чтобы в Петербурге не стыдно было показать, тогда и завод поставим, и мастером на нем станешь!

— У-у!.. Постараюсь, Петр Ефремович.

А Дмитрий Васильевич надолго в Мезени не задержался, быстро соскучился по семье и уехал в свою любимую деревню, к «лапушке» Анне Кирилловне. Не было в нем, как у братьев, необъяснимого желания быть первыми, самыми лучшими, самыми богатыми. В батюшку своего пошел, в Василия Васильевича... не в род — больно уж мягкий, добрый и семейный.

Один за другим ломал сделанные кирпичи Петр Ефремович — недоволен был, кричал: «Не тот!.. Не то!.. Поймите, в этот кирпич из пушек палить будут, а снизу море подступать... Не то!..» Через месяц на столе у Петра лежал темно-красный кирпич с клеймом «Бр. Р.». «Вот он! Вот... — кричал радостно. — Теперь держись, Петербург!» Афанасий Васильевич кирпич на торгах питерских показал. Охали-хвалили, но денег пришлось отвалить, чтобы подряд отдали «Торговому дому Ружниковых»... А потом, как по кругу, из одного департамента в другой, из одного кабинета в другой бегал полгода. Подряд — одно, а разрешение на поставку — совсем другое. И военные — уж вроде, кто больше всех заинтересован в нужном кирпиче, и те — не... «А мне-то от этого что?..» Позолоти ручку, барин!..

Петр как удила закусил, кричал: «Врешь! Моя сила будет! Нас — Ружниковых так не возьмешь! Все отдам, а не сдамся!» Думали — либо разорится, либо помешается на этом кирпиче, а он, как подряд и поставка стали его, выкупил за бесценок маленький развалившийся завод под Петербургом, установил нужные для такого обжига печи, безграмотного мастера Харитона над всем заводом поставил и привез глину... в бочках. Когда по прибытию их вскрыли, а глина жидкая, как будто только со склона реки Мезень взяли, даже вода мезенская.

Как своим именем-то дорожили!

И вскоре кронштадтские форты из красного кирпича с клеймом «Бр. Р.» возвышались над водами Финского залива, защищая Россию...

Жизнь в Оме шла так тихо и спокойно, что изменения замечались только в дни государственных потрясений. В русско-японскую войну пара мужиков погибла да парочка вернулась раненая. И все. И опять тишь. До четырнадцатого года почти ничего не менялось: рождались дети, умирали старики, праздновались свадьбы, отмечались поминки. В церковь народ не ходил — не было церкви. Свои, домовые, церкви были. Староверы. И иконы были старинные, от прадедов, темные от времени, с потускневшим серебром в окладах, а больше просто доски. И в доме Дмитрия Васильевича в углу, над лампадой, стояла старая-старая икона с еле видимым ликом Богородицы и пятном от затянувшегося отверстия внизу. Уже никто и не вспоминал, когда появилась икона в доме, а в связи с чем — то и вообще считалось древней сказкой. Один Дмитрий Васильевич верил. А дети — уже нет. Ну, икона и икона. Прошли времена икон. Новый век на дворе: пушки, пулеметы, машины, аэропланы... Какие иконы? Какой Бог? Один Бог на Земле — Бог войны!..

Но грянул четырнадцатый год и, как и по всей стране, только с опозданием, заорали в деревне пьяно: «Сейчас мы им дадим!.. Все-то они против нас — православных воюют, вместе с турками... Дави их!..» А в это время на фронте, от бездарности правителя государства и его генералов, уже сотни тысяч русских душ полегли. А в Оме все кричали: «Мы им дадим, нехристям!..» И уходили солдатами, некоторые добровольно. И снова тишина — когда еще весточка какая-нибудь дойдет? У-у-у!.. Красивый медвежий угол Ома.

А в шестнадцатом, с поражениями, пошли похорожки по стране и стали возвращаться солдаты, больше похожие на покойников: худые, оборванные, кашляющие кровью, кто без рук, кто без ног. Страна наполнилась калеками, нищими, попрошайками, ворами и убийцами. Страна наполнилась бо-

лю и болезнями. Страшной страна стала. Царя ненавидели все: и верующие в бога, и не верующие. Только в таких вот северных деревеньках почти не замечали происходящего: да — война, да — убивают, но царь — святое! Крестились и просили отвести беду от их домов.

Пришедшие с войны пили, курили, не работали и самыми последними словами ругали царя и все это государство, которое бросило их в мясорубку войны. И говорили о революции. Ну, говорили и говорили, что человек по пьянке не скажет? Мелет ерунду всякую. Проспится — успокоится! Не успокаивались. И таких крикунов становилось все больше и больше.

Иван Павлович Кокин был далеко не бедным человеком. Впрочем, в такой староверческой деревне, как Ома, бедных людей практически не было. Если только те, кто работать не хотел. Все есть: река, полная рыбы; море — вот рядом; лес, полный дичи, пушнины, грибов и ягод; коровы, молоко, лошади и главное мясо для северян — олени. Всем понемножку занимался Иван Павлович. А еще подрастали дети: сыновья Григорий и Павел — погодки и младшенькая — ангел-Ангелина. Не белоручками дети были; не принято в северных деревнях на печке лежать, с детства родителям помогали — работали. Учились в школе. Бесплатно и хорошо. Сидели за одной партой с Володькой, сыном Дмитрия Васильевича. А за соседней партой сидела сестра Ангелина с девочкой из соседней деревни, Аней, которая сиротой стала, а потом приемной дочерью Дмитрия Васильевича. Все вместе росли. За кареглазой Ангелиной и стал ухаживать Володька. И возникло чувство любви.

И пришла в девятнадцать лет в дом Дмитрия Васильевича Ангелина Ивановна женой Владимира, и удивилась обращению

свекра: «Входи, лапушка, в дом. Теперь он твой!» И такая она была счастливая в этот момент от этой человеческой доброты теперь для нее такого родного дома.

И дети не заставили себя долго ждать: трое сыновей — вот радость не только родителям, но и деду с бабкой. И все было: дом, семья, муж, дети, любовь.

Не белоручкой пришла в дом Ангелина: умела доить, косить, лес рубить, рыбу ловить, лошадьми и оленями управлять, готовить. Все северные женщины умеют готовить и печь, а Ангелина лучше всех. Когда она готовила шанежки, свекор первым шел к столу и нахваливал: «Где же ты была, ангел мой, двадцать лет назад? Анна Кирилловна, лапушка, может, поучишься?»

Дом с мужем построили. Дети появились и росли. Владимир, муж, трудолюбивый, все время трудился, трудился, трудился. Какие революции, какие войны: семья, дети — работать надо.

В семнадцатом Дмитрий Васильевич получил письмо из Петрограда от брата Петра, в котором тот писал о полной анархии в стране, грабежах, об отречении царя, о развале фронта и ненависти всех ко всем, об отсутствии хлеба, мародерстве. И писал, что в новое правительство он не верит — уезжает с семьей в Финляндию, а там, даст бог, в Польшу. «Прошу тебя, бросай все и беги! — писал. — Если власть захватят большевики, они никого не пожалеют. Наступит ужас, крах страны. Беги!»

«Смешно, Петр. Куда бежать? — отвечал Дмитрий Васильевич, хотя и понимал, что письмо не дойдет. — У меня семья — восемь душ. Даже если представить, что я, старик, убежал, и дети мои убежали, и жена, Анна Кирилловна — все на ковре летающем улетели, то что бы я стал там делать, за границей? Я бы уже через неделю умер от тоски по своему дому, по березкам, по реке своей. Нет, пусть что будет. Все в руках божиих!.. У нас тоже появились эти социалисты: не работают, пьют, курят, матом ругаются, грязные и все о своей революции кричат. Воняет от них! Я на них смотрю и все завод мезенский

вспоминаю, там тоже социалисты ссыльные были, так те были все трудолюбивые, хорошо работали и грамотные. Помнится один — Климка Ворошилов, тот, да — стойкий социалист был. Если такие, как Климка, захватят власть, тогда да, страна рухнет. Он никого жалеть не будет. Хотя, признаюсь, Климка мне нравился. Я ему тогда еще жениться помог на еврейке, Гиле, кажется — ее для этого в православие крестили в нашей церкви — и даже на свадьбу приходил поздравить...»

В восемнадцатом опять пришло письмо от Петра. Даже непонятно, как дошло? Тот писал, что живет с семьей в Польше, рад, что успел убежать вовремя из России. Деньги есть, но немного — все очень дорого. «Хочу переехать подальше от этой войны, — писал Петр, — от всех этих ужасов. Лучше в Америку, в эту новую страну, или в Канаду — туда многие русские уезжают, говорят, что очень на Россию похожа — берез много. Пишу и прошу тебя — уезжай! Англичане в Архангельске. Я не верю, что они победят. Это наша родина — Россия, и она никогда не склонится перед врагом: какая бы власть ни была. Мы же помним историю нашего рода. Если решишься, в Архангельске найдешь начальника порта... Он меня знает много лет, скажешь, что от меня — он тебе и твоей семье поможет и устроит на корабль, уходящий в Англию или Норвегию. Дальше я все сделаю. Прошу тебя, уезжай. Беги! Афанасий не успел убежать, погиб. Богом прошу — беги! Семья Афанасия в Финляндии. Приедет сюда, в Польшу, и будем все вместе уезжать, туда, в Америку». Дальше Петр описал, как погиб Афанасий.

На это письмо Дмитрий Васильевич не ответил и, никому не показав, спрятал.

Торговый дом «Братья Ружниковы» предлагали создать еще отца Петра и Дмитрия. Была небольшая контора. Если бы

не их братец Андрей с игрой в карты, уже тогда процветал бы в Петербурге их торговый дом. На годы его отложили: каждую заработанную копейку в дело пускали: лучше лишнее бревно распилить да продать, чем хоромы в столице содержать. Потом Ефрем Васильевич умер, только становиться на ноги стали, старший брат Иван скорострительно скончался. Но выправились и на Большой Посадской улице, что на Петербургской стороне, поближе к Каменноостровскому проспекту, открыли без праздничных салютов и шума торговый дом, который занял первый этаж четырехэтажного доходного дома, принадлежащего немцу Вальду. Возглавил торговую компанию младший брат — Афанасий. Он однажды при дядьке Андрее Васильевиче — разорителе уже приступал к работе в Петербурге, но был отозван отцом в Архангельск. Так что вернулся к своим обязанностям.

В «Доме» не велись продажи, и он не представлял магазин или лавку. Это было солидное многокомнатное помещение, обитое, по последней моде, дубовыми панелями, с тяжелой испанской мебелью, картинами и электрическим светом. Торговый дом был больше похож на хорошую адвокатскую контору. Впрочем, он в какой-то мере и был адвокатской конторой, так как в нем проходили деловые встречи, подписывались различные сделки, в том числе с иностранными компаниями. Через кассу и счета в банках проходили сотни тысяч рублей. Приличная наличность хранилась в подвале, в мощном сейфе. Работающие в конторе клерки были учтивы и очень грамотны, знали языки и торговое право других стран. Это они, одними из первых, узнали о планируемом правительством строительстве новых фортов в Кронштадте. От имени «Дома» был выигран подряд на поставку кирпича. Через «Дом» проводились сделки на поставку мезенской доски в Англию, рыбы, мяса, пушнины, моржового клыка, шкур морских зверей в Петербург и Норвегию. К четырнадцатому году братья надумали строить на петербургских верфях со-

временные рыболовные сейнеры, с крепкой обшивкой и паровыми двигателями. Афанасий и жил в этом же доме, занимая квартиру в семь комнат. Торговый дом процветал...

Все спутала мировая война.

Поставка доски в Англию стала невероятно рисковым делом — немец топил торговые суда, не спрашивая, везут те оружие или нет. Конечно, и доска подорожала, но все равно уже не было таких доходов. Занимались все больше поставками рыбы, мяса, пушнины. Есть-то во все времена люди хотят, хотя во время войны то, что дешевле. Занимались поставками мяса и рыбы и для армии. Царские деньги постепенно превращались в пыль. Чтобы они совсем не сгорели в пламени войны, выкупили весь доходный дом на Посадской у разорившегося на войне промышленника, но немца по фамилии, Алоиза Вальда. На фамилии и прогорел. Петр, осторожный, сопротивлялся, предлагал купить дом в Польше. Но Афанасий, с цифрами и фактами, со своими помощниками, доказывал, что выгодно покупать только в России. Война-то вот-вот закончится победой, и цены взлетят. Да и что Польша — деревня! Порешили — сделали. А Алоиз Вальд раздал долги и уехал в Финляндию, перед отъездом сказав братьям, предрекая: «Особо на русского царя не надейтесь — слабый он, утянет страну в пучину революции со своей женой-немкой!» Но кто в это верил в пятнадцатом и даже шестнадцатом году? Но наступил семнадцатый, и все посыпалось: поставка леса в Англию прекратилась — немцы топили всех подряд, кто шел в туманный Альбион. Франция ждала, что вот-вот в Париж войдут войска кайзера. С фронта дезертиры бежали тысячами, и никто их не задерживал. Доходы превратились в убытки. Петр (умный) предлагал пусть с убытком, но дом Вальда продать. Но Афанасий (тоже умный) доказывал, что войну Россия выиграет и вновь денежки рекой потекут в сейф в подвале дома.

Царь, в своей любви к жене и детям, плюнул на свою богоизбранность и отрекся от престола в пользу брата. А тот,

такой же богоизбранный, вспомнил только о своей шкуре — взял да и отказался. Со слабого царя Романовы начинали, а закончили... Правда, может, Романовых-то уже с Павла не стало?.. Петр, как известно, не мог, а Катя постаралась с Салтыковым... Уж больно Паша-то похож — копия... Монархия под радостные крики интеллигенции и выстрелы в воздух русских офицеров рухнула! Все замахали флагами и побежали счастливые по улицам. Афанасий нацепил большой красный бант на теплое пальто и тоже пошел радостный по февральским улицам столицы бывшей империи. Как же, буржуазия пришла к власти — наше время наступило!

Петр, в отличие от Афанасия, всем этим переменам не обрадовался. В середине семнадцатого года, поставив управляющим на мезенском заводе какого-то шустрого питерского малого, а попросту бросив завод, схватил жену, детей и, пока шум и неразбериха была на границе, перебежал в Финляндию, а оттуда, после октябрьского большевистского переворота, в Польшу — там у него уже домик был куплен: тихий, небольшой, весь в плодовых деревьях. Ну а какой еще должен быть домик в Польше, в бывшей бесприданнице российской — не Финляндия с дачами аристократии, культурной богемы и дворян. И спасся!.. И семью спас!.. Афанасий семью, рыдающую от происходящего хаоса в российской столице, отправил тоже в Финляндию, на дачу, под Выборг. Сам февральскую смену власти (Какая там революция?) воспринял с радостью — сейчас немца добьем, и все восстановится! Ну и дождался!..

Очнулись в Петрограде от праздников в октябре и не поняли — власть другая, пролетарская? Даже не поверил никто! Как-то тихо, без единого выстрела, раздавив по дороге четырех человек, заговорщики вошли толпой в Зимний дворец, где находился госпиталь для раненых, выкинули всех вместе с койками и утками, и то ли Ленин, то ли Троцкий (без Сталина) крикнул: «Наша власть! Рабочих и крестьян! Революция, о которой так долго говорили большевики, свершилась!»

Вот когда Афанасий Ефремович вспомнил пророчество брата и... Вальда. Да поздно. Первое, что сделал товарищ Ленин, — границы закрыл, объявил «мир хижинам, войну дворцам» и, заплатив немцам за помощь в октябрьском перевороте золотом и половиной страны, из мировой войны вышел! Война-то через несколько месяцев закончилась — поражением немцев! Но Россию, с ее миллионами безвинных солдатских жертв, на тот пир не пригласили. Товарищ Ленин со своими товарищами по партии другую войну развязал — гражданскую!..

Дом на Посадской новая власть забрала без компенсаций; построила дополнительные дощатые перегородки и вселила в щели-комнатки семьи погибших в ссылках и на каторгах большевиков. Оставили Афанасию Ефремовичу для проживания две комнаты в бывшем торговом доме и, забив досками двери на парадную лестницу, всех заставили входить в дом через двор — через черный ход. Привычка такая у революционеров — через подворотни ходить.

Несколько месяцев спустя пришел поздно ночью, тихо, управляющий мезенским заводом, что был оставлен вместо себя Петром. Молодой, а седины полголовы. Одет — один драный зипун. Как спасся — сам не понимал, а как добрался до Петрограда — вообще не помнил. Посидел, водки выпил, поплакал и ушел. Навсегда, в никуда...

Афанасий Ефремович понимал, что пролетарская петля тихонечко сжимается на его шее. Решил бежать в Архангельск, а там морем, через знакомых, в Норвегию. Тем более в один из дней, вечером, вновь тихо появился бывший управляющий мезенским заводом и передал письмо от Петра. Молча вошел, передал и также молча, не прощаясь, ушел. Как будто и не было. Петр в письме просил, умолял уехать в Архангельск, а там, через его знакомых, Афанасия переправят в Норвегию. Сообщал, что семья Афанасия жива, в Финляндии, и хочет переехать в Европу. Он их там встретит. А потом все вместе уедут в Америку или Канаду.

Собирался Афанасий недолго...

Второго августа восемнадцатого года в комнату вошли солдаты с винтовками и человек в кожаной кепке и кожаной куртке с маузером на поясе. Представились — ВЧК. Потребовали выдать, пока добровольно, ценности, деньги, товары и продукты. Афанасий Ефремович понял — все! Сам характером был в батюшку — Ефрема Васильевича, а уж ростом и здоровьем бог не обидел. Как сидел в единственном, оставшемся после выселения кресле, так, не вставая, послал чекистов «по матери». Солдатики бросились скручивать руки, да куда там — раскидал всех по углам. Человек в коже достал маузер и выстрелил, а когда Афанасий упал на колени, спокойным голосом приказал: «Добейте! Штыками!»

В этот день в Архангельске высадились англичане...

Жизнь в Оме шла спокойно. Ну, революции, ну перевороты. Деньги превратились в пыль — стены оклеили, красивые обои получились. А чего бояться — живут, в основном, натуральным хозяйством. У всех все есть. Большевики создали какой-то совет, флаг вывесили красный. Хорошо, что не черный. А для совета забрали у Дмитрия Васильевича дом, что под школу был построен. Школа — потом! Стали проводить ежедневные собрания, петь песни и ходить по улице с портретом их вождя — Ленина и красными флагами. Крестный ход, да и только. Деревенские старики и старухи смотрели и крестились двумя перстами. Время от времени советчики напились «до чертиков», ругались матом, ломали мебель, потом успокаивались, побитые, опохмелялись самогоном и вновь принимались за свое — заседать. Не стреляли — и ладно!

В НЭП вообще хорошо стало. Не хуже, чем при царе. Даже золотыми советскими червонцами разжились.

Гольтьба в деревне орала, песни пела и, начитавшись советских газет, полных призывов и лозунгов, решила создать коммуну. Всех имеющихся в их хозяйстве коров, лошадей свели на один двор. Туда же свезли сено, посуду и всякую нужную и ненужную утварь. Даже оленей в одно стадо согнали и решили вести общее хозяйство. Получилось, правда, немного. Деревенские крестились — только бабы отдельно! Коммунары ходили по деревне и агитировали жителей вступать в коммуну. Люди шарахались, крестясь. Виданное ли дело: и бабы, и мужики в одну избу жить забрались! Антихрист пришел! Большинство идти отказалось. Дмитрий Васильевич вновь вспомнил Климку Ворошилова. Сын, Владимир, показал коммунарам на дверь. У самого семья, как ваша коммуна.

Коммунары песни попели, пару раз на сенокос вышли, все собранное съели и... разбежались! Остались самые стойкие — большевики. Председателем своим избрали самого бедного, но безобидного мужичка по имени Саша Пурта. Тому печать нравилась, как малому дитя игрушка. Правда, писать почти не умел. Остальной народ, увидев, как коммунары разбежались, рассмеялся и принялся за работу. На севере день год кормит. Точно!

Только время удивления и смешков закончилось. К тридцатому году началась в стране коллективизация. Товарищ Сталин не шутил — каленым железом выжигал сопротивление: где массовыми расстрелами, где голодом. И вернулся в деревню, в сердца и в души людей страх. Никуда он, страх, с батыевых времен не уходил, сидел где-то под сердцем, а тут выполз холодком между лопаток, тянущей болью под ложечкой, сердцебиением и дрожью в коленках и руках. Ужас и страх вернулись, и потухла в глазах у крестьян искра божия, поняли — Антихрист победил! Не отсидеться в маленькой северной, занесенной снегом деревеньке. Все жались в предчувствии. Советчики во главе с Сашей Пуртой

объявили о создании колхоза, а точнее сельскохозяйственной артели. Конечно, она отличалась от коммуны хотя бы тем, что не весь скот забирали и выходной день один появился, и жить можно в своем доме. Надо же — в своих семьях выходных не было, только по церковным праздникам — все время работали, а тут — четыре дня работа, пятый — выходной. Советчики, слабенькие от пьянки, увещевали людей вступать в колхоз. Пока только просили. Пришли и к Владимиру Дмитриевичу и получили в ответ: «Пошли-ка вы со своим колхозом!.. У меня тут свой колхоз...» И для большей убедительности дулю под нос сунул.

Не подумал Владимир, ох, не подумал, кому фигуру из трех пальцев показал — власти, да какой власти! Характер родовой проявился. Ни о себе, ни о семье не подумал...

А по стране железной поступью в мягких сапожках шел Иосиф Виссарионович. Индустриализация вождю была нужна, а коллективизация, как побочный продукт — чтобы не мешали. И миллионы жертв — побочный продукт. «Лес рубят — щепки летят!» Впереди замаячили ДнепрГЭС, Беломорканал, Норильск, Магадан!..

Анисиму Рокову с детства, с рождения не везло. Только родился, а оба родителя поплыли к морю рыбку ловить, попали в шторм и утонули. А раньше, вот также на рыбалке, утонул и его дед Анисим.

И чего к морю плыть? Реки северные рыбой полны — ведром черпай.

Родители и дом-то не успели поставить, как погибли. И остался малюсенький Анисим на воспитании у бабки своей, Глафиры, которую иначе как «бабка Анисимовна» никто в деревне по-другому и не называл. Выкормила внука ко-

зьим молочком да рыбной кашей. У Анисимовны, наверное, самый бедный дом в деревне: так, не дом — одна маленькая низенькая комнатка да печь, и все. Еще была банька, которую банькой ни у кого язык назвать не поворачивался — вросшая в землю покосившаяся избушка. А откуда большому дому быть: муж Анисим у «Анисимовны» рано погиб и дом не успел поставить. Рок над семьей какой-то. Может, и фамилия отсюда такая?..

Бедовым мальчиком рос Анисим: в школу, построенную Дмитрием Васильевичем, ходил кое-как, все больше пропал на охоте да на рыбалке, и драчуном был... Научившись писать и считать, понял, что для него этого более чем достаточно, в школу перестал ходить и стал больше на девок заглядываться. Парни, что постарше, его били, а он — под юбки лезет и все. Весь в синяках, а не уймется. Но тут война с германцем — сам добровольцем пошел. Только восемнадцать стукнуло. Всей деревней провожали — думали, или убьют, или инвалидом безногим, как большинство с японской, приползет. В шестнадцатом заявился в деревню — списали по ранению, кончики у двух пальцев, где ногти, на левой руке оторвало, а может, сам оторвал. Шумел, пьяный, по деревне: «Сволочи! Мироеды! Буржуи!» И еще про каких-то «пролетариев»... но это слово никто не понимал. На пару орали с таким же фронтовиком, георгиевским кавалером, Никиткой Назаровым, демобилизованным по ранению — газов немецких дохнул и легкие сжег. Покричал, покричал Анисим и уехал в Архангельск, а там в тюрьму попал как уголовник, за грабеж и поножовщину, а революция освободила уже как политического. Вначале меньшевиком был, потом «осознал» — в большевики перекрасился. Поступил в ВЧК, которое потом ГПУ стало — организация как раз для него. Боролся с контрреволюцией: стрелял во врагов советской власти, не раздумывая, курсы всякие повышения по законности убийств прошел — все законы-то товарищ Ленин

еще в первые дни после революции отменил. Так что один закон был в стране — революционная необходимость и высшая мера социальной защиты — расстрел. Отличался правильностью понимания политического момента и беспощадностью к врагам советской власти. А когда к тридцатому году пошла в стране коллективизация, направила партия или сам пошел как особо уполномоченный по борьбе с контрреволюционными элементами — кулаками в деревню. Попросился на родину, в Ому. Все эти годы бабке весточку не подавал. На что жила — не его дело. А ходили к Анисимовне дети Дмитрия Васильевича, а потом внуки, ухаживали за ней, дрова заготавливали, рыбой и мясом делились, муку давали. Это Дмитрий Васильевич с Анной Кирилловной внуков просили ласково: «Сбегайте, лапушки, к Анисимовне, отнесите гостинца да помогите там». Ома — деревня не бедная, но посмеивались: «У Митрия Васильевича все не так: то школа, то больница, то Анисимовна. У богатых всегда свои причуды». Особенно ненавистно к таким причудам относились деревенская пьянь и бездельники — много их стало после войны мировой и особенно после гражданской. Кричали в сельском совете: «За что же мы кровь проливали, коли мы как были пролетариями, так пролетариями и помрем, а буржуи, вроде Ружниковых да Масловых, на батраках свои капиталы получать будут?» Саша Пурта, председатель, отвечал: «Так у Ружниковых вроде и батраков-то нет — все своей семьей зарабатывают». — «Все равно — надо все отобрать и поделить. Наша власть — народная!»

Вот в это-то время и прибыл в Ому уполномоченный ОГПУ Анисим Роков, с наганом...

— Чего стоите? Выкидывайте все. Дед Митрий, сам выйдишь или вытолкать? Ты, бабка Анна, бери деда и выходи, а не то я (показал наган) вас — классовых врагов, кулаков-миродов, быстро шлепну! — кричал Анисим Роков, вышагивая по просторному дому. — Радуйтесь — сюда заселим сельский совет. В тех двух ваших домах будет школа и больничка —

все, как ты хотел, дед Митрий! Эх, надо бы вас всех под корень, а вас только в ссылку, да и то только сыновей твоих, и куда — в Мезень, на завод. Завод-то вроде ваш — Ружниковых? Как тебе такой жизненный поворот, дед? Поработают на благо народа, мироеды. Братцы-то твои, говорят, убежали в семнадцатом. Ты-то чего не убежал? Ничего, мировая революция все на свои места поставит. Всех догоним — и к стенке...

Тут-то Анисиму обыскивающий дом Никита Назаров принес найденный конверт, а в конверте письмо от брата Петра, что в восемнадцатом присылал и просил Дмитрия Васильевича убежать в Архангельск, а оттуда в Англию. Прочитал Анисим Роков письмо, аж побледнел от радости, закричал на всю улицу: «Это тебе, дед Митрий, контра ты недобитая, смертный приговор! Тебя из-за старости ваши советчики с Сашей Пуртой во главе пожалели. Да и на тебя указание есть — не трогать! Ну, ничего — сейчас не открутишься. К стенке станешь!»

Семью сына Владимира тоже выкинули на улицу. За три часа до этого Анисим Роков в сопровождении сельсоветчиков вошел, не здороваясь, в дом Владимира, где находилась вся большая семья. Анисим зачитал постановление совета о выселении семей Ружниковых из всех их домов; имущество и скот поступают в собственность сельскохозяйственной артели. Ружниковы — Владимир и Алексей отправляются на два с половиной года в ссылку, в Мезень, на работу на лесопильном заводе № 46 имени К. Е. Ворошилова.

— А что с детьми-то делать, Анисим Иванович? — спрашивал сопровождавший Анисима Саша Пурта.

— Какие дети — кулацкое отродье. Выкиньте их! Сопли распустили. Когда разрешат их сослать из деревни — пойдут за своим отцом.

— А что из вещей можно отдать, и где они жить-то будут?

— Вы че здесь, в деревне совсем классовый нюх потеряли? На улицу их! И кто к себе возьмет — дело со мной иметь будет. Дайте им из одежды чего-нибудь и котел с ложками. Не зима

на улице — проживут. А не выживут, так туда им и дорога!.. Советская власть за них отвечать не должна. Они — классовый враг. Так учит товарищ Сталин! А из вещей (засмеялся) отдайте им иконы — пусть на свои доски молятся.

Брата Владимира — Алексея арестовали еще раньше. Обоих, не дав попрощаться с семьями, увели под охраной в сельский совет, где вместе с отцом Ангилины, Иваном Павловичем, посадили на телегу и повезли за деревню, туда, откуда когда-то, много-много лет назад, их отец приехал, и где под крестами тлели кости их предков. Везли на завод, который построил их дед, где работал их отец, и который носил имя их рода, и которому большевики дали имя ссыльного Климки Ворошилова.

Судьба!..

Ивана Павловича отправили дальше — в Сибирь!..

А многодетная семья, потеряв все: дом, скот, имущество, сидела на перевернутом котле и узлах с одеждой. Трое мальчишек жались к матери и бабке, дед задумчиво стоял, опираясь на изогнутую палку. Люди испуганно, из-под руки, смотрели издали, качали головами и быстро уходили в свои дома. Начинался мелкий холодный дождик. Улица опустела.

Ближе к вечеру в конце улицы появилась старуха. Она шла медленно, опираясь на клюку. Подошла, покачала головой и тихо произнесла:

— Пошли, лапушки, со мной.

— Ты, Анисимовна, знаешь ли, что сказал твой внучок? — спросил дед Дмитрий.

— А что он сказал?.. Что не позволяет никому вас принимать? Я принимаю вас у себя дома. Это мой дом!..

— Спасибо, Анисимовна, но мы не можем пойти. Твой внучок выкинет и тебя из твоего же дома. И не посмотрит, что родная бабка!

— Хорошо, идите ко мне в баню — это не дом. Пойдемте! Плевать я на него хотела!

Старики, поддерживаемые внуками, тихо поплелись на край деревни. Люди смотрели в окна и задерживали беленькие занавески. Страх пришел, моментальный страх, вдруг откуда-то изнутри, из похолодевшего сердца, из глубины веков, от ига монгольского, всплыл и заставил сжаться губам, душе и опустить глаза. Стучал в голову — а вдруг я следующий!

Анисим, как только узнал, что выкинутые на улицу кулаки, враги народа, получили приют у его бабки, в его доме, расвирепел и побежал домой к Анисимовне. В малюсенькой избе сидела сгорбленная старуха.

— Ты, бабка, охренела?.. Ты кого приютила?.. Врагов советской власти?.. Ты представляешь, что обо мне подумают и что будут говорить? В моем доме — и классовые враги!..

— Это не твой дом, а мой. Мой и моего покойного мужа, деда твоего. А ты, поганец, в этот дом с грязными сапогамиходишь. Пошел вон! Может, меня тоже раскулачишь? А знаешь ли ты, что пока ты где-то все эти годы пропадал да о своей бабке не вспоминал, только вот эта семья спасала меня от голодной смерти!

— Все равно гони их, или я выгоню!

— А они не в доме, они в бане, которую и баней-то не назовешь. Может быть, ты хотя бы гвоздь в этом доме вбил? Я и мыться-то к ним все эти годы ходила. Сама не могла прийти, так они сами приводили. Попробуй только, тронь! Я сама из дома выйду и на улице вместе с ними начну умирать. Этого хочешь, внучок?

— Тьфу ты, бабка! Спорить с тобой... Ладно, но только в бане. Все равно недолго осталось — их тоже выселят из деревни.

— Ты что — совсем глупый: куда же с севера можно выселить?

— Бабка, да знаешь ли ты, сколько мест в нашей стране есть, где наша Ома раем покажется? Страна строится. Сталин нас ведет к коммунизму! Все будут равны. Богатых не будет. А они — классовые враги!

— Такого нагородил — ничего не поймешь! Странный твой Сталин, раз считает, что ссыльные лучше работают, чем простые люди. Я такого в жизни не видала.

— Не переживай — заставим работать! Но смотри, в дом кулаковпустишь — и тебя не пожалею, всех в расход пушу!

— Это — убьешь что ли? Так сразу и стреляй!

— Тьфу ты, бабка, говоришь, как враг. Молчи. А то вместо тебя меня поволокут!

Анисим плюнул на пол в родительском доме и выскочил из избышки. На завалинке, у покосившейся малюсенькой бани сидел дед Дмитрий. Анисим, расставив ноги, встал над дедом и зло сказал:

— Дед думаю, недолго тебе самому осталось на свободе жить! Ты не надейся, что твои сыночки спокойно поработают в Мезени, на вашем заводике, и вернуться сюда. Я тебе обещаю, я постараюсь, чтобы они не вернулись. Я ведь помню, как они меня били, когда я к Ангелинке приставал. Что Лешка, что Вовка. Я им этого никогда не прощу. Но тебя-то надо было не просто сослать, как сыночков, а расстрелять! Ты-то и есть самый страшный классовый враг! Сам на ладан дышишь, а трудовой народ ненавидишь. Нашу партию, наших вождей ненавидишь. Помоложе бы ты, дед, был — винтовку бы взял и против нашей власти пошел! А тебя даже тронуть не дали. Говорят, сам товарищ Ворошилов вычеркнул тебя из расстрельных списков. Ничего, всех вас под корень изведем. Все ваше семейство — наши враги! Враги народа!

— Климка, что ли? Надо же, вспомнил!

— Не Климка, а Климент Ефремович Ворошилов, народный комиссар по военным и морским делам. Боевой друг товарища Сталина. Только за «Климку» тебя надо было бы расстрелять. И расстреляем. Помяни меня. Если не тебя, то сынов твоих точно! Недолго осталось.

Анисим еще раз плюнул и пошел от родного дома, в тот новый мир, в который, может быть, и верил, но которого боялся, и который готов был защищать с оружием в руках.

— А тебе-то сколько осталось? Подумай, — тихо, глядя ему вслед, сказал дед Дмитрий и, подняв руку, перекрестил уходящего Анисима. — Бога ты потерял. В себе потерял. А, может, и не имел? Прости его, Господи!..

Дед только что погладил заснувших в маленькой бане на черном пологе внучат и сказал своей жене, Анне Кирилловне и жене сына Ангелине: «Устали? Спите, лапушки. Завтра все будем решать». Порылся в принесенных вещах и достал из тряпок и платков темную от времени икону Знамения Божией Матери. Женщины тихо ахнули и закрепились. «Пока она с нами, все будет хорошо», — сказал дед и поставил икону в угол на чурбак; порывшись у себя в рубахе, достал огарок свечи и спички, зажег — лик Богородицы осветился, дед зашептал молитву и непонятно, будто обращаясь к кому-то, сказал: «Не помру!» и вышел, согнувшись, из баньки...

Банька была такая маленькая, что когда приготовленную на костре еду, в котелке, вносили в нее и ставили на единственную лавку, на края усаживали стариков — деда Дмитрия и бабу Анну и рядом становились внуки, то матери, Ангелине, приходилось выходить на улицу. Все по очереди хлебали ложками приготовленную еду. Да еще надо было накормить бабу Анисимовну.

Анисим Роков, выслав всех врагов, забрав в колхоз все имущество раскулаченных, наведя ужас на жителей, пригрозив карами за отсутствие классовой бдительности артельщикам и коммунистам деревни, уехал, так больше и не заходя к своей родной бабке. Бабка Анисимовна даже тихо всплакнула — единственный внук все-таки. Может, одумается?

Перед отъездом Анисим Роков власть в деревне сменил: снял с должности Сашу Пурту как не справившегося, не понимающего остроты и важности борьбы с кулаками, и назначил председателем совета Никиту Назарова. Может, повезло Саше?..

Дед Дмитрий целыми днями, опираясь на палку, ходил по деревне, где подбирал, а где и выпрашивал ненужные в хозяйстве вещи. После отъезда Анисима Рокова люди оглядывались, но давали что-то из еды, рваную сеть, обрезки досок, самовар, ведра и тарелки. Дед переделал каменку в печь и вывел трубу через крышу. Появилась возможность готовить еду в бане, не стало дыма, да и теплее спалось.

«Надо готовиться к зиме», — сказал дед и с внуками, которые повзрослей, стал ловить рыбу. Иногда помогала невестка. Ангелина была очень хозяйственной, умела все: ловить рыбу, ставить силки на птиц, косить траву, рубить деревья и колоть дрова. К осени начали собирать ягоды и грибы. Дед законопатил все щели и даже нашел осколки стекла и застеклил маленькое оконце. Плохо было то, что из добрых людей они сразу превратились во «врагов народа», а детей обзывали «кулацким отродьем». Новая власть приветствовала в людях другие понятия и чувства — классовую ненависть.

В феврале пришла бумага, разрешающая поездку в Мезень. Решили: Ангелина поедет, а трое внуков останутся с дедом и бабкой. Младшему, Евгению, исполнилось три года. Куда везти?.. Вместе с женой Алексея и поехала.

Муж, Владимир, жену встретил, обрадовался, расцеловал, повел в барак при заводе. Завод хоть и носил гордое имя героя гражданской войны Клим Ворошилова, но про себя все рабочие называли его «Ружниковых», по имени создателей. Странно, но при новой власти работать стали дольше, а зарплата стала меньше, и не стало никаких прав, кроме права ходить в обязательном порядке на демонстрации. С возможными забастовками в новой советской республике разобрались

быстро — создали ВЧК, которой дали полномочия не просить, а карать, и не за забастовки, а за классовую принадлежность.

Мезень хоть и считалась городом, но жители, как крестьяне, не имели паспортов и не могли свободно уехать в другие места. Все население трудилось на лесопильном заводе либо занималось заготовкой древесины. Новые — советские ссыльные особо и не отличались от простых жителей — столь же нищими выглядели. Некоторые старики вспоминали добрым словом отца Владимира и Алексея — Дмитрия Васильевича — за времена, когда он был на заводе управляющим. Петра Ефремовича меньше — уехал в Петербург, а в революцию, говорят, сбежал в Польшу. Но большинство радовались: «Ну вот, сейчас, вы, Ружниковы, и ответите за слезы, за пролитую кровь народную, пролетарскую. Смотри, вражина, — вот он, бывший ваш, а ныне наш, советский, пролетарский завод!»

Поставили работать на самый тяжелый участок — подъем бревен из воды. Трудились четырнадцать часов в день, без выходных.

Мезень произвела угнетающее впечатление: грязь, разруха, отсутствие света, пьяные лежали на улицах, в лужах.

Завоевания революции!..

Пробыв полгода с мужем, надорвавшись от тяжелого труда: женщины работали на сортировке доски, Ангелина собралась к детям — Анна Кирилловна писала, что дед сильно сдал и ей одной тяжело управляться с внуками.

Умирала и бабка Анисимовна. Дмитрий Васильевич с семьей, как могли, поддерживали старушку. Перед смертью та вызвала к себе председателя совета Никиту Назарова и сказала, что отдает свой домик семье Ружниковых. «Ты что, Анисимовна?.. Но твой внук?..» — со страхом сказал председатель. «Это дом моего покойного мужа. Я так хочу. А внук, Анисим, он отрезанный ломоть — ему я ничего не оставляю. Да ему ничего и не нужно. Если надо какую бумагу подписать — давай». Председатель принес документ, и бабка поставила крест.

Последним, с кем бабка Анисимовна поговорила перед смертью, был дед Дмитрий, и он что-то ей пообещал.

Рокова Глафира Петровна умерла тихо. На похороны пришли деревенские старухи. Из стариков был один Дмитрий Васильевич. Он принес и поставил в изголовье покойной темную-темную от времени икону, на которой проглядывался лик Богородицы с младенцем. Все зашептали молитвы и закрестились двуперстно. «Глафира перед смертью просила принести», — сказал дед Дмитрий. Многие только в этот момент и вспомнили, что покойная никакая не Анисимовна, а Глафира. Похоронили на деревенском кладбище. Обыденно, под крестом-домиком. Председатель совета, хоть и была умершая единственной родственницей, бабкой самого Анисима Рокова, прийти побоялся.

Дед Дмитрий и бабка Анна с внуками переселились в малюсенькую избушку, чуть больше, чем баня, в которой они жили. Но все-таки это был дом.

На дворе мела метель...

Через два с половиной года после высылки Владимир вернулся. Худой, с побитыми сединой, коротенькими волосами, без бороды и усов, он выглядел намного старше своих тридцати лет. Подросшие сыновья не узнали отца. Алексей в Ому не вернулся — уехал с семьей в другую деревню, подальше от Рокова — правильно и сделал.

Дед Дмитрий обнял сына и сказал: «Дождался. Можно и помирать». И через неделю умер. Перед смертью легко попрощался со всеми. Попросил остаться только жену. «Ты меня, Аннушка, прости, — прошептал Дмитрий Васильевич. — Брат-то Петр был прав, когда прислал тогда, в семнадцатом, письмо, чтобы мы все уходили. Он меня ждал за границей. А куда мы бы поехали — восемь-то детей? А про письмо, что в восемнадцатом Петр прислал, я тебе не говорил, и плохо, что не уничтожил. Анисим-то его и нашел. Пообещал мне расстрел, да вот, слава богу, не успел. Боюсь, сейчас наших

детей новая власть захочет уничтожить. Анисим мне сказал, что он от нас не отступит, пока всех не уничтожит». Сына попросил беречь икону Знамения. На похороны никто из деревенских стариков не пришел — побоялись. Владимир поставил на могиле отца восьмиконечный крест с «крышей». Молились на икону Знамения. Просили защиты...

Анна Кирилловна пережила мужа всего на несколько месяцев. Сгорела, как свечка, а ведь на двадцать лет моложе была. «Лапушка» Дмитрия Васильевича пошла за своим мужем. Лежала маленькая и тихая под семейной иконой. И похоронили рядом.

В сельскохозяйственную артель Владимира не взяли. Все бывшие кулаки и лишенцы прав, решением партии коммунистов, не принимались в колхозы. Семья не просто бедствовала — голодала. Но и «на вольные хлеба» не отпускали. Семье установили жесткие задания: поймать рыбы триста пудов, поймать птицы три тысячи штук, срубить леса... И, главное, внести в кассу колхоза две тысячи рублей. Где их взять? Так это ваше дело. Рабство?! Нет — советская власть!..

Но и радость была: через девять месяцев со дня возвращения из ссылки у Владимира и Ангелины родилась долгожданная «лапушка» — дочка Мария.

Никита Назаров, как и весь его род, не был уж совсем лентяем, но так — с ленцой. Чуть поработали — и на печку. Поэтому и жили как-то так — никак! И не нищие вроде, и особого богатства в доме нет. Любителем был порассуждать Никита. Хлебом не корми, дай языком помолоть. В четырнадцатом лежать на печке надоело и, как и Анисим Роков, пошел на войну. Но повезло мужику — на австрийский фронт попал. А какие из австрийков вояки — известно всем. Австрийцы,

чтобы не погибать, выучили всего одну фразу на русском «Сдаюсь!» и, завидев русских, сдавались. Чуть что — «Сдаюсь!» Чехи — те вообще не хотели воевать и сдавались без единого выстрела. А за каждого пленного положена медаль, а потом и Георгиевский крест. Кое-кто полным георгиевским кавалером становился, ни разу не выстрелив из винтовки. И так их много сдавалось в плен, что вся русская армия, что напротив австрияков стояла, в крестах ходила, как будто не за бои их давали, а по просьбе австрийского командования. А военнопленными были забиты эшелоны и города. И всех корми! И Никита Назаров на пленных заработал медаль, а там и крест Георгиевский, солдатский. Не война — санаторий! Чуть-чуть еще так повоевать — и полный георгиевский кавалер и звание унтер-офицерское.

Но тут австрийцев немцы сменили, а те воевать умеют. И как дали!.. И побежали русские солдатики, звеня крестами, а немец еще и газы удушающие с аэропланов сбросил — вдохнул Никита — и легкие сжег. Блевал кровью. Думали — все! Кое-как чуть оклемался, и списали домой, помирать! Инвалид, но все-таки не деревянный крест.

Пришел домой — деревня работает, а он инвалид, на пособии. И за что воевал? На печку залез — лежит. Стали приходить с фронта такие же изувеченные. И самый громкий — Анисим Роков. Попили, покричали, Анисим уехал, и вновь тишина наступила. Две революции как-то пропустил Никита, на печке лежа. Зимних дворцов в деревне нет. Да и гражданская — как-то мимо. В коммуноу вступил, а чего не вступать, если ничего своего нет. Когда все съели и разбежались, не ушел — некуда. Стал помогать такому же «пролетарию» Саше Пурте. Только тот уж больно мягкий был. Чувствовалось — фронта не нюхал! В большевики вступил. В совете хоть поговорить можно, все не на печке.

А вот когда Анисим Роков вновь приехал, весь в коже, при нагане, понял — вот она, его власть пришла. Помогал

на совесть Анисиму кулаков в деревне искоренять. Не Саша Пурта — где надо и кулаки применял, и с удовольствием. Анисим его хвалил, но к себе в ГПУ не звал. Куда с таким-то здоровьем! Чуть покрепче кашлянет — и кровь.

Перед отъездом Анисим Роков собрал большевиков и сельсоветчиков в новом доме совета, бывшем Ружниковых, и давай всех учить да распекать за отсутствие классового чутья, за какой-то либерализм. Не журил, не советовал, по-товарищески — грозил наганом, вроде как они и есть враги народа. А напоследок провел пере выборы председателя совета и предложил вместо Саши Пурты избрать Никиту Назарова. Сказал, обращаясь к советчикам: «Никита — наш боевой товарищ. Пролетарий. Пострадал от империалистов. (И рукой беспалой помахал.) Обладает острым классовым чутьем. Пощады врагам советской власти не даст. Большевик. Предлагаю его избрать председателем. Кто «за»?.. Единогласно... Никита, займи место председателя. Пурта, передай товарищу Назарову печать...» Строго попрощался. Вышел на крыльцо в сопровождении Никиты и сказал: «Смотри, Никита, я за тебя поручился. Ты мне друг. Врагам спуска не давай. Пурту гони из совета. Слабак он, не наш. Прощай. Буду следить, как ты здесь управляешься. Если что, сразу пиши мне в ОГПУ. Особенно, когда вернутся братья Ружниковы. По деду Митрию я там решу: напишу, куда следует, и письмо, что ты нашел, приложу. Не отвертится — к стенке станет!» И уехал. А Никита Назаров стал руководить деревней. Пурту из совета выгнал. Жесткую дисциплину навел. Партийную ячейку возглавил. Вот что с людьми народная-то власть делает!..

Пыль... лагерная

Заместитель начальника отдела ОГПУ по Архангельской области Анисим Иванович Роков просматривал списки

осужденных врагов народа и зло шептал: «Мало, мало, мало! Надо попросить увеличения квоты на расстрел... А это что за список? Так... Освободившиеся из мест заключения и ссылки... Архангельская губерния... Мезень... Ома... Так, Ружников Владимир Дмитриевич, тысяча девятьсот третьего года рождения. А, это мой земляк — кулак недобитый. Освободился, значит. Уже год, как на свободе?.. Нет, ты у нас пойдешь уже в лагерь. Хватит ссылок — в тюрьму. А там и расстрел. Жаль, расстрелы утверждаю не я. А Никита Назаров чего молчал? Еще один Саша Пурта? Это ведь я его поставил. Могут и ко мне предъявить обвинения: куда смотрел... политическая близорукость... А может, заодно?.. И пойдешь вместе с ними. Нет!.. Где людей, беззаветно преданных, найти?.. Нельзя его на свободе держать. В лагерь!.. А лучше бы к стенке!.. И Никитку туда же. Предатель!.. Вместе пусть к яме станут! И план по врагам народа перевыполним... И себя обезопасим».

Анисим Иванович взял списки ссылаемых в лагерь, по которым принимали решения местные тройки, и вписал фамилии отца и сына Ружниковых. Он же не знал, что деда Дмитрия уже нет в живых, он даже не знал, что выростившая его бабка тоже умерла несколько лет назад. На Никиту Назарова, председателя совета, коммуниста и врага народа, была составлена подробная докладная записка.

Владимир Дмитриевич, пробыв с семьей всего-то два года, был арестован и на основании решения «тройки» (без суда) отправлен в лагерь на строительство великой стройки социализма — Беломоро-Балтийского канала имени великого вождя, товарища И. В. Сталина...

Никита Назаров был арестован прямо в своем кабинете, в совете, располагавшемся в отобранном у кулаков Ружни-

ковых доме. Обвинение было стандартным — враг народа. Отправили в НКВД в Архангельск. Следствием руководил Анисим Роков. Назаров все признал... Но вместо расстрела получил срок. Власть была еще доброй! Ссылала, сажала... Всею свое время...

Анисим Роков, теперь уже начальник отдела НКВД по Архангельской области, получил подтверждение, что Владимир Ружников сослан в лагерь на три года, а Дмитрий Васильевич умер в 1934 году. «Жаль, — подумал Анисим, — ушел, гад, от сталинского правосудия. А сыночек-то живуч... Смотри-ка, и Никитка всего лишь пять лет получил... Что происходит, откуда такая доброта к врагам народа?» И сел писать письмо, обращаясь через голову своего руководства непосредственно к Наркому внутренних дел товарищу Николаю Ежову, только что расстрелявшему своего начальника Генриха Ягоду. Ненависть и, как ему казалось — классовая, разрывала сердце стойкого чекиста Анисима Рокова! Всем по делам своим воздастся!..

Народный комиссар обороны Советского Союза маршал Климент Ефремович Ворошилов, поздно ночью приехав домой, снял усеянный орденами китель, сел за стол и принялся с восхищением к аппетитной любимой жареной картошке со шкварками, заботливо приготовленной для мужа женой Екатериной. Картошку жарить Екатерина Давыдовна любила еще со времен своей молодости, с годов ссылки в маленький северный городок Мезень. Маршал выпил рюмку

водки, закусил селедочкой и приступил к картошке. Аппетитно поев, налил еще рюмку и сказал:

— Знаешь, Гиля (так называл жену только дома), я сегодня смотрел списки приговоренных... ну ты понимаешь, к чему... И по Архангельской области обнаружил, знаешь, кого?

— Нет. Впрочем, догадываюсь — опять Дмитрия Васильевича? Помню, тогда ты его спас от ссылки, а сейчас чего, — тихо-тихо прошептала Екатерина Давыдовна, — к расстрелу приговорили? Он же, наверное, совсем старый?

— Я думаю, что его нет в живых, а так бы точно стоял в списке. Опять его сын Владимир, с деревни этой северной, не помню названия, короткое такое, куда Васильевич тогда уехал к своей молодой любви. Помню, она моложе тебя была. Вот молодец, мужик!

— Клим, тебе пятьдесят пять, а ты все о каких-то девушках. Бери пример со Сталина. Однолюб!.. Что с сыном Дмитрия Васильевича?

— Он осужден на три года лагерей, но пришло письмо Коле Ежову от какого-то начальника отдела НКВД, не помню его фамилию, и его внесли в списки для... Надо было только подпись поставить, а меня как кто-то под локоть толкнул — посмотрел, а там сын Дмитрия Васильевича — Владимир. С этой деревни, забыл, как называется, один с такой фамилией и по отчеству — Дмитриевич. Был еще второй, но фамилию не помню.

— И ты, Клим, подписал? — тихо спросила Гиля Ворошилова.

— Я «расстрел» вычеркнул и написал: «Дать еще восемь лет лагерей».

— Может, и правильно. Чего он там вредительского в деревеньке своей мог сделать, чтобы расстреливать? Не на шахте же, не инженер?.. Ладно, ты ешь-ешь, Климуська, а то картошка остынет... Сказал, а я Мезень вспомнила, и как

нам не разрешали пожениться, а Дмитрий Васильевич все устроил. Хороший мужчина, хотя и классовый враг. Странный он, необычный капиталист был. Бревна сам таскал... Давай, я тебе еще рюмочку налью, под картошечку?..

Владимир Дмитриевич отработал кайлом, пилой и лопатой свои три года лагерей, но вместо освобождения его, постаревшего, привезли на новый суд в Ому. Можно подумать — первый суд был?..

На суд привезли и бывшего председателя сельского совета, а ныне врага советской власти, подстрекателя, шпиона австрийской разведки, троцкиста, бывшего царского холуя Никиту Назарова. На суде выяснилось, что он кресты при царе получал, убивая австрийских рабочих-пролетариев! Тогда же был завербован австрийской разведкой. Не боролся, а всячески помогал кулачеству в деревне. Защищал врагов народа! И сам — враг народа! Обвинение было составлено на основании рапорта в наркомат НКВД, в Москву, на имя товарища Ежова, от сотрудника НКВД по Архангельской области Анисима Рокова.

Никита Назаров в результате следствия и допросов свою вину признал полностью по всем пунктам. Решение тройки — расстрел! Никиту привезли на показательный суд вместе с врагом народа, кулаком Владимиром Ружниковым. Тому тоже была определена высшая мера наказания. Выездной суд в деревне Ома, в переполненном зале сельского клуба, провел заседание, на котором были полностью изобличены антинародные, вражеские действия двух местных деревенских мужиков: Владимира Ружникова и Никиты Назарова. Назарову присудили высшую меру — расстрел, а Ружникову, учитывая некие смягчающие обстоятельства

(какие — суд не назвал), полученные новые данные, дали всего-то восемь лет. Дополнительно... Повезло! Маршал заступился. В 1946 году выйдет... если доживет.

Обоих после суда, не дав проститься с родными, увезли по этапу в Архангельск. Дорога проходила через Мезень. Никита всю дорогу харкал и мочился на ослепительно белый снег кровью. Умеют в НКВД нужные свидетельства получать.

О многом переговорили двое заключенных: о родной деревне, о земляках, о семьях, о детях...

В архангельской тюрьме их разделили. Перед расставанием заключенные обнялись. «Прости меня, Владимир, за все», — сказал, расставаясь, Никита. — «Бог простит!» — услышал в ответ.

Харкающего кровью Никиту притащили в кабинет майора НКВД Анисима Рокова.

— Что же ты, Никита, так плохо исполнял свои большевистские обязанности? Врагов народа жалел. Свили они у тебя в деревне антисоветское гнездо. И тебе всего пять лет дали? Вот сейчас ты понесешь за эти свои злодеяния настоящий ответ. И твой подельник, Вовка Ружников, пусть не надеется — все равно я своего добьюсь, получит он по заслугам, никакие Ворошиловы его не спасут.

— Меня, Анисим, зачем к тебе привели? Я уже к смерти давно готов. То, что ты виноват в моей смерти, я и так знаю. Чего еще тебе надо? Покаяться хочешь?

— Я — покаяться? Брось, Никита! Ты же смерти в глаза смотришь. Неужели не боишься? Сейчас пулю в затылок получишь — и все, нет тебя.

— Я о многом думал, Анисим, за эти годы. И ничего я уже не боюсь. А крови, как у тебя, у меня на руках нет. Может, Он, когда я перед ним предстану, и простит меня? Тебя — нет! Не хочу я с тобой разговаривать, Анисим, — пусть уведут.

— Здесь не разговаривают. Здесь, гражданин Назаров, правду, на коленях ползая в собственном го... не, говорят.

Или ты забыл?.. Ладно, прощай, Никита. Жаль мне тебя. А мог бы жить да жить.

— Что это за жизнь — на крови других? Дьявол ты, Анисим!

— Прощай!.. А еще другом когда-то назывался.

— Другом, — зашептал Никита, — другом?..

И стал собирать кровь во рту, чтобы плюнуть на Анисима Рокова, но делал это медленно, как все больные и бессильные люди. Анисим сумел отскочить, и кровь попала, сгустком, на его до блеска начищенные сапоги.

— Ах ты, сволочь! — заорал вне себя Роков и ударил этим сапогом Никиту в пах. Тот охнул и, скрючившись, упал, и Анисим Роков стал исступленно его пинать: в живот, в грудь, в лицо. Сидевшая за отдельным столиком для записи допросов секретарь — дородная девица с косой, в форме, с наслаждением и любовью смотрела на своего начальника.

Никита вдруг обмяк, вытянулся и прохрипел:

— Ну, слава богу, отмучился. И от дружбы отвязался.

— Какой дружбы? — остановился от битья Анисим. — Чьей дружбы?

— Твоей, — прошептал Никита. Потом как-то по-детски всхлипнул и затих. Струйка крови побежала из открытого рта. Глаза остекленели...

— А он ваш друг, Анисим Иванович? — спросила, не подумав, секретарь. И мотнула завлекательно косами.

— Кто? Он?.. Нет. Он — враг и получил по заслугам. Прикажи, чтобы убрали здесь...

И Анисим Роков вышел из кабинета. Шел и думал: «Друг. Друг?.. К чему это я? А секретарша дура! Надо с ней кончать, иначе донесет, что у меня друг — враг народа... Был».

Через неделю секретарь, девушка с косами, была арестована, обвинена в подрывной деятельности и шпионаже, признана виновной во всех злодеяниях и расстреляна...

Ангелина, жена Владимира, оставшись одна с четырьмя детьми, руки не сложила, не рыдала, головой в стенку не билась. Не такая это была женщина! Пришла к новому председателю колхоза и услышала: «Ты и твоя семья — классовые враги! Но советская власть добрая. Тебе будут даны твердые задания: будешь рубить лес, лошадь мы тебе дадим, летом будешь ловить рыбу, триста пудов, почищенной и засоленной, сдавать будешь в колхоз, лодку, сети и соль дадим; зимой задание — поймать силками две с половиной тысячи куропаток. А не выполнишь — выселим. И уже не в Мезень, а пойдешь со всем своим кулацким выводком вслед за твоим отцом — в Сибирь».

Ивана Павловича, отца Ангелины, тогда, в тридцатом, сослали в Сибирь. Там он и сгинул. От голода... Писал в единственном дошедшем письме: «Крыс едим!..»

— Впрочем, — сказал председатель, — откажись от мужа как от врага народа, и власть к тебе, может, милость проявит.

— А Маня твоя, если тебя врагом назовут, тоже от тебя откажется?

— Ты поосторожней здесь! Я не твой Володька! Я не враг народа... Я и есть народ! Проваливай, пока не передумал!.. Ишь ты, я — и враг народа! Скажи кому — засмеют!

Мария, выходя, повернулась и сказала:

— Никита-то Назаров тоже врагом себя не считал.

И дверь председательскую в своем бывшем доме тихонько закрыла — все-таки своя дверь.

И стала Ангелина с детьми летом и осенью ловить рыбу. Пудами ловила, дети чистили и солили. Все лето и осень. Себе немножко оставляли. Дети грибы, ягоды собирали. Зима на носу. Вот в один из таких дней и наткнулись дети на медведя — ел ягоду. Заорали и побежали, а медведь за ними. И встала на пути медведя Ангелина... с топором. Медведь

увидел, на задние лапы встал, вонь из слюнявого рта. Женщина отступила на несколько шагов, медведь чуть прошел на задних лапах и опустился, чтобы прыгнуть, и в этот момент — ждала, подскочила к медведю и с огромной силой всадила топор в голову медведя... И убила!..

Медвежью шкуру в деревню привезли, народ ахнул — всякое бывало, но чтобы топором — и женка! И так-то уважали в деревне Ангелину за трудолюбие, за доброту, за набожность, но такое бесстрашие — даже в северной деревне небывалый случай.

А дети еще и в школу пошли. Особой тягой к знаниям отличался младший — Евгений. С легкостью учился. Лучшим учеником был в деревне. Сын кулака!

Только горе, еще одно, пришло в дом. Старшие сыновья сложились заработанными деньгами и купили ружьишко. Как-то забивал капсюль в латунный патрон Женька, а тот сработал — и в левый глаз. Вытек глаз у Женьки — окривел! А такой красивый парень рос, с такими необыкновенными, умными, большими и цепкими серыми глазами...

Мальчишка настолько был упрям и жаден к знаниям, что, оставшись с одним глазом, все свободное время читал, читал, читал. Книги проглатывал. Сына кулака приглашали деревенские старики в свои дома, чтобы читал письма и газеты. Книгу, один раз прочитав, мог рассказать от корки до корки. Стихи декламировал с легкостью. Учился и работал. Работал и читал. Знал, что единственная возможность выбраться из унижений — окончить школу. Школу, построенную его дедом. Мало кто из деревенских мальчишек больше пяти классов вытягивал. А он тянулся. Единственный. Нет, была возможность, такая простая — отказаться от отца. Но такой позор!.. Лучше в речку Ому. И без камня — чтобы помучиться!..

Война

Два молоденьких, симпатичных, коротко стриженных, скрипящих новенькими ремнями, сверкающих малиновыми лейтенантскими ромбиками в воротничках гимнастеров, только что выпущенных из военного училища красных командира ехали светлым июньским днем на пытящем черным дымом скоростном паровозе, на носу которого выпирал профиль великого вождя, к месту службы в Киевский военный округ, в корпус уже известного по военной печати любимчика маршала Тимошенко, генерал-майора Андрея Андреевича Власова. Генерал в войнах еще не участвовал, но с учетом тяжелого батрацкого детства, умения говорить нужные слова, ласкающие ухо вождей, талантом хорошо встретить проверяющие комиссии как-то не попал во всеобщую мясорубку уничтожения командного состава. Это был генерал новой формации — умеющий хорошо разбираться и побеждать на тактических картах, где, как известно, «красные» малыми силами на чужой территории разбивали врага. Власов всегда разбивал. Даже Георгий Жуков его хвалил. Власов быстро стал генералом, — а как, если красных командиров-то не осталось: Жуков — и все! Нарком обороны Тимошенко не в счет — он в мировую простым пулеметчиком был, а как вырос!..

Молодые командиры, выходцы из маленькой северной деревни с ласковым мягким названием Никитцы, что на берегу реки Печоры, были двоюродными братьями, что нередко для маленьких деревень, и знали, и дружили друг с другом с раннего детства, и носили одну фамилию — Кожевины.

Окончив школу, не раздумывая, поступили в Рязанское пехотное училище, которое с отличием окончили и, получив приказ о назначении, сейчас летним июньским днем направлялись на службу в Киевский военный округ. Они, как все, верили в гений великого вождя, в непобедимость Рабоче-крестьянской Красной армии, в мировой интернационал,

в «пролетарии всех стран...», в великий военный дух красноармейцев. В училище они хорошо выучили устав, труды товарищей Ленина и Сталина и тактику боев великих маршалов К. Е. Ворошилова, С. М. Буденного и немножко тов. Тимошенко, который, командуя, погубил сотни тысяч красноармейцев в финскую войну. Они с трудом могли отличить Суворова от Кутузова, а Барклай де Толли вообще в их понимании был врагом народа. Они научились отдавать команды, колоть штыком, немножко стрелять из настоящих винтовок, хотя и окончили пехотное училище, и, главное, умели с криком «Ура!» бросаться вперед на врага и побеждать, а если надо — умирать за счастье своего народа, за великого Сталина.

По окончанию училища им был дан положенный отпуск, и они через Архангельск, добирались домой, к родителям. Застряли в Архангельске и пошли погулять по удивительному, тихому северному городу. Была белая ночь, и на полной праздной гуляющего народа набережной красивейшей из рек — Северной Двины встретили хохочущих от радости, что сдали экзамены, двух симпатичных девушек, студенток теперь уже четвертого курса медицинского института, которых звали почему-то обеих Машами. Девушки были родом из маленького городка Мезень. Ходили вчетвером всю ночь, держась за руки, и даже при расставании целовались. И влюбились, и договорились встретиться здесь, на набережной, ровно через пятнадцать дней, когда молодые красные командиры поедут из отпуска к месту службы.

И, как и договаривались, через две недели вновь встретились, вновь гуляли, а потом признались друг другу в любви. Как военных, их брак зарегистрировали. Никаких свадеб не было. Но были две прекрасных ночи и два дня любви в пущом, на время начавшихся студенческих каникул, общежитии медицинского института, куда лейтенантов, переодев в гражданскую одежду, протаскивали мимо спящего вахтера оставшиеся на лето в городе несколько Машинных сокурсников.

И теперь, уже как женатые люди, прижимая в карманах, вместе с приказами о назначении, фотокарточки любимых жен и свидетельства о браке, молодые лейтенанты ехали служить, а их жены, две Маши, стали готовить документы по своему переводу на учебу, поближе к любимым мужьям, в Киевский медицинский институт. Все в институте так завидовали молодым девушкам!.. В стране вообще завидовали женам красных командиров. Правда, никто не знал, что, как только красный командир как шпион иностранной разведки попадал в лагерь, вся его семья репрессировалась и отправлялась в такие же лагеря, а их дети направлялись в специальные детские дома, где им меняли фамилии. Все в этой стране было продумано до мелочей. Вождь не спал, все время думал о народе!..

Молодые лейтенанты с радостью ехали на юг, за Киев, во Львов, служить в 4-й механизированный корпус под командованием уже знаменитого генерала Андрея Андреевича Власова. Молодых красных командиров звали Николай и Александр. На войну ехали!.. Но этого они еще не знали, и никто в стране не знал... Даже великий и гениальный вождь народа И. Сталин!..

Они прибыли в часть в субботу вечером, 21 июня 1941 года. Кроме дежурного, ни одного командира в части не было — все были отпущены на выходные дни в ближайший город Львов. Отдохнуть!..

Была прекраснейшая южная летняя ночь, какие бывают только на юге и только на Украине. Это когда хочется вдыхать этот теплый, настоящий на цветах воздух и не выдыхать. Звезды, светлячки перемещались в черном небе. Два друга, братья, счастливые, стояли смотрели на это звездное небо, удивлялись необыкновенному теплу и запаху цветущих деревьев. Как же им, северным деревенским ребятам, повезло! Сейчас устроятся и вызовут своих жен. И будет служба, и будет любовь. Где вы, наши родные, любимые Маши?

Война началась так рано, что молодые командиры не успели даже уснуть — все тихонько переговаривались, лежа на узких койках.

Они не погибли ни в первый день, ни в последующие дни и недели войны. Они с боями отступали к Киеву, теряя неизвестных им, рядом дерущихся простых красноармейцев. Они, как все, не понимали, почему они отступают и никто не наносит контрудары по врагу. Вокруг умирали сотни, тысячи солдат, а им везло — они оба были целы, так, царапины. Они быстро разобрались с винтовками и даже имели один на двоих невиданный ранее немецкий автомат. Только патроны к нему можно было добыть в бою — убив врага. И они убивали, убивали, убивали. Они отличились в боях по защите Киева, в 37-й армии под командованием генерал-майора Власова. Они были отмечены благодарностью командования в приказе, подписанном лично генералом. Они смертельно устали, но продолжали сражаться и продолжали отступать. Подчиненные им солдаты так быстро погибали в боях, попадали в плен, что их невозможно было запомнить по именам. Так, красноармейцы.

Власов, раненый под Киевом, бросив армию в окружении, быстро улетел самолетом на лечение в подмосковный госпиталь, а затем в санаторий. Ранение спасло его от расстрела. Расстреляли за гибель армий и сдачу Киева других. Почему-то не тронули Жукова. Странно, что Георгия Константиновича как начальника генерального штаба не расстреляли за все промахи начала войны — он прямой ответчик! Вместе со Сталиным!.. Власов уже не спешил на фронт — там убивают. Великий вождь всех народов обратил внимание на этого худенького генерала в очках, наградил его орденом Боевого Красного Знамени и дал ему свежую 20-ю армию, в которой, после многокилометровых отступлений, после

переформирования, оказались красные командиры лейтенанты Николай и Александр Кожевины. 20-я армия, ценой неисчислимых жертв простых солдат, нанесла удар по немцам и освободила Волоколамск. 13 декабря 1941 года были опубликованы фотографии генералов — героев, защитивших Москву. Самым знаменитым, после Жукова, стал теперь уже генерал-лейтенант Андрей Власов. Его называли «Спасителем Москвы», вручили второй орден Боевого Красного Знамени. И этот худой, похожий на красного профессора, в круглых очках генерал еще больше стал нравиться вождю. О бесстрашном генерале решили написать книгу «Сталинский полководец». Сталин книгу одобрил. Бойцы 20-й армии гордо стали называть себя «власовцами».

В приказе по армии были отмечены и два молодых лейтенанта. Их, командиров, так мало осталось после Киева, что Власов их легко вспомнил. Николаю и Александру присвоили звания старших лейтенантов и наградили орденами Красной Звезды. И предоставили отпуск! И это в самый тяжелый первый год войны!.. Заслужили.

А как были рады и как были горды своими мужьями их жены, их Маши. Они тоже рвались на фронт, но им пообещали — через год. Они готовились стать врачами и дополнительно ходили на курсы по стрельбе. Они хотели не только спасти раненых бойцов, но и мстить за погибших солдат, которых было немного: всего погибших к ноябрю 1941 года, как сказал, поздравляя советский народ с годовщиной Октябрьской революции, товарищ Сталин — триста тысяч, а немцев было убито, по словам того же товарища Сталина, четыре с половиной миллиона! Почти всех немцев убили — для нас оставьте!.. Сталин, наверное, цифры потерь поупотал... А, может, так и хотел сказать...

Старшие лейтенанты побыли несколько дней в Архангельске. Руководство института выделило красным командирам, орденосцам, с женами, временно две комнаты в об-

щежитии и попросило выступить героев-фронтовиков перед преподавателями и студентами медицинского института. Молодые люди, научившись воевать, плохо умели говорить, больше рассказывали о героизме солдат, о генерале Власове и, сорвав аплодисменты, красные от смущения, ушли со сцены к ждущим и гордящимся ими женам. Как же им все завидовали!..

Домой, к родителям, в северную деревеньку, старшие лейтенанты, конечно, не успели — отправили письма и газеты с приказом Верховного главнокомандующего об их награждении орденами. И послали такие же газеты, но армейские, со своими фотографиями. Родные плакали, не узнавая в этих усталых, взрослых лицах своих молоденьких сыновей. Газеты передавали из дома в дом, а потом вырезали фотографии и повесили в рамках рядом с иконами. Приказы спрятали в сундуки. Какие счастливые родители — другим только похоронки и извещения о «без вести пропавшем»...

Любимого генерала после отдыха вождь, уже заместителем командующего Волховским фронтом, отправил спасать Ленинград. Жуков-то, оказывается, не спас?! И вообще, вождь решил, что сорок второй — год победы! Как враг дошел в сорок первом до Москвы, так и побежит в сорок втором до Берлина! Боясь вождя, упиваясь победой под Москвой, безграмотный командующий Волховским фронтом Мерецков и такой же «спаситель» Родины — Власов в январе 42-го бросили 2-ю ударную армию на прорыв блокадного кольца. Немцы спокойно открыли фронт, как будто знали, где будет наступление, а потом, за армией, закрыли кольцо в неизвестном тогда и запрещенном к произношению потом местечке Мясной Бор. И стали методично уничтожать армию. Осторожный Власов, спасая собственную

шкуру, не понимая ситуации, сделал глупость, взял и полетел во 2-ю армию со специальной комиссией. Надо было найти и наказать виновных в провале операции! На месте, перед строем, расстрелять трусов и паникеров! Мерецков обрадованно подписал приказ. Генерала сопровождали многочисленные полковники и два старших лейтенанта из его личной охраны, орденосцы Николай и Александр Кожевины. Как их называл генерал, «мои ангелы-хранители». Он их разыскал, когда был назначен сюда, под Ленинград, и взял к себе ординарцами. Верить кому-то надо. А эти — свои, с границы вместе. Устроил разгон командующему 2-й армией генерал-лейтенанту Клыкову; того, раненого, отправили самолетом за линию фронта, а великий стратег генерал Власов решил прославиться и возглавил армию. Герой. Так и она стала «власовской». 2-я ударная армия стала «второй власовской». Рок чисел? Немец убивал и убивал, из кольца выскальзывали единицы. Власов понял, что он совершил страшную, смертельную ошибку, оставшись здесь, при армии, и решил вырваться из окружения самостоятельно, в одиночку. Не первый раз ему было бросать на смерть, в окружении, своих солдат. Если вырвется — вождь простит и наградит!

С собой взял только «ангелов-хранителей» и солдата-радиста. Кружили долго, пытаясь найти лазеечку, щелочку, чтобы выскочить за кольцо. Куда там — немец каждый кустик пристрелял. Было голодно. Генерал как-то быстро и сильно сдал. Часто впадал в меланхолию, называл немцев «героями, непобедимыми воинами». Иногда старшим лейтенантам приходилось тащить генерала на своих спинах. Даже солдат-радист, раненый, без рации, без винтовки — и потому бесполезный, ковылял на простреленной ноге и только стонал и замертво падал на ночных привалах. В начале июня, через три месяца боев, скитаний, безуспешных прорывов остатки армии уже не сражались — умирали от голода. Армии никто не помогал. Про нее забыли!..

Старшие лейтенанты вышли с генералом к маленькой, в несколько дворов, староверческой деревне Туховежи. Проверили — вроде немцев нет. Лейтенанты, заросшие молодыми русыми бородками, внесли в крайнюю избу генерала и посадили его, поникшего и безучастного, на лавку около печки. В избе находился старик, жестко смотревший на военных, и прижавшийся к нему маленький мальчик в одной длинной рубашке. Мальчик зашептал: «Деда, это — наши?» Дед ничего не говорил, только положил старую, с корявыми венами руку на голову мальчика.

— Вы что-то, дедушка, не рады нам? Не бойтесь, мы свои, красноармейцы. Скажите, дорога отсюда есть, и где немцы? — спросил Николай.

— Дорога есть, с того края деревни начинается, в Михайловку, но там немец. И здесь вчера был, все выпрашивал, вон, наверное, про него (показал на Власова), хенерала. И уехал.

— Интересно, — сказал, подняв голову, Власов, — как же ты, дед, с ним разговаривал? На немецком, что ли?

— Почему на немецком? У них офицер по-нашему хорошо говорит. Вы бы уходили, товарищи военные, боязно мне, не за себя, за внука.

— Это ты нас, людей защищающих, не щадя своей жизни, таких, как ты, весь советский народ, выполняя приказ Родины, товарища Сталина, гонишь? Может, ты немцу проданся? Или ты кулак недобитый? — закричал Власов. — Так мы тебя сейчас быстро к стенке поставим!

— Ты не кричи, хенерал. Чего ребенка пугаешь? Сразу видно, что ты только «Ура!» кричать можешь, раз сам не ходишь, а тебя солдаты на закорках носят. Что-то крови-то на тебе не видно. Вон, солдатик — тот ранетый, а ты — нет. Что-то под немцем-то мы оказались. А сейчас ты, как заяц, по лесам бегаешь. Спасаясь? Видишь, штаны-то с полосками какие грязные? Да и где твоя армия? Вот — вся?

— Ты, дед, я смотрю, под немцем осмелел. Я сейчас тебе пулю в лоб всажу как врагу народа и не поморщусь.

— Так я и так, вроде как враг, раз все дети мои в лагерья отправлены, потому что в колхоз не вступили.

— Ты, дед, меня из себя не выводди! Давай, корми нас, — сказал уже тихо и устало, но с угрозой, Власов.

— А чего кормить: вон, в печке картошка, а хлеб в тряпице на столе. Вся и еда. Чай, не осень — лето. Только лебеда проклюнулась.

— Ты, дедушка, не переживай. Сейчас мы отдохнем и уйдем. Ты лучше скажи, есть тут какая-нибудь тропка, чтобы мимо немца проскочить? — спросил Николай.

— Если только через болото. Это верста отсюда. Аккурат по солнышку.

— Товарищ генерал, надо проверить возможность прорыва. Вы поешьте, отдохните, а один из нас пока сходит в разведку.

— Не надо одному — идите вдвоем. Я приказываю!

— А как же вы, товарищ генерал? Мы не можем вас оставить одного. Вдруг немцы?

— Какие немцы? Здесь? Идите. А если что — я не сдамся. Что у нас с оружием?

— Две винтовки и две обоймы. Немецкий автомат с неполным магазином и одна граната. Два наших пистолета без патронов.

— Оставьте мне автомат и гранату. Пистолет у меня есть. Сунутся — приму бой. Если погибну, кто-то из вас должен дойти до наших и рассказать о моей гибели. Сами знаете, что бывает с семьями предателей и без вести пропавших. Идите. Это приказ! Да и солдат со мной. Стрелять сможет. Одну винтовку с обоймой оставьте ему. В бой не вступайте. Ваша задача — разведка. А мы, если уж придется, свою жизнь дорого отдадим, не посраим нашу Рабоче-крестьянскую Красную армию. Так, солдат?

— Так точно, товарищ генерал!

Дед-старовер со страхом смотрел на генерала и все сильнее прижимал к себе маленького мальчика. Эта была та единственная ниточка, связывавшая его с жизнью и не дающая спокойно умереть. Внук — вот и все, что осталось от большой семьи, объявленной кулаками и отправленной в лагерь, где, наверное, и сгинула.

— Правда, дед, не сдадимся? — сказал вдруг весело генерал Власов. — Идите, товарищи лейтенанты, и быстрее возвращайтесь.

— Вы тут располагайтесь, а мы пойдем к соседям, — сказал дед.

— Стоять! — закричал Власов. — Знаем мы вас, кулаков недобитых, врагов народа. Хочешь немцев привести? Да я тебя первого шлепну, как только ты к фрицу побежишь. И внучка твоего не пожалею. Лучше сиди тихо.

Братья оставили автомат и гранату, взяв одну винтовку, долго кружили и ползали по окрестностям, дважды наткнувшись на немцев, те стреляли из пулеметов, братья пару раз отвечали — берегли патроны в единственной винтовке и, наконец, вышли к краю болота и увидели прислоненные к березе слуги. Пошли по болоту; мальчишками часто ходили у себя, на севере, по болотам, собирая ягоду; никто не стрелял, и они перешли через трясины, а дальше начался бор, и лейтенанты поняли, что они вышли за немецкое окружение. «Эх, надо было сразу генерала с собой брать, — сказал Николай. — Пошли быстрее обратно».

Братья усталые, но довольные, что выполнили приказ генерала, направились к деревеньке и услышали выстрелы. Пулемет... винтовка... пулемет... опять винтовка... автоматная очередь... Побежали... Выстрелы прекратились. Добежали до поляны, где стоял крайний дом и где они оставили своего генерала. «Стой, — зашипел тихо Николай, — ложись!» На поляне стояли три мотоцикла с пулеметами. Немцы не стреляли —

они стояли, направив винтовки и автоматы на окна избы. «Не стреляйте! — неслось из дома. — Я сдаюсь! Я генерал Власов!» Власов вышел из избы с поднятыми руками, в руках держал портупею с пистолетом. Даже пистолет не вынул! Немцы вошли в избу и вытолкали деда с мальчишкой, вытащили за ноги убитого красноармейца. Дед посмотрел на Власова и крикнул: «Какой же ты хенерал, коли своего солдата убил? Гад ты!» Немцы удивленно смотрели. Потом защелкали языками, показывая на грудь Власова, где красовались два ордена Красного Знамени, тыкали пальцами на галифе с красными лампасами.

«Гут! Генерал!» — сказал, улыбаясь, немец с петличками офицера. Прошел к одному из мотоциклов, достал фотоаппарат, вернулся и сказал по-русски, почти без акцента: «Поднимите выше руки, генерал, и замрите». Власов еще выше поднял свои худые руки, немец сфотографировал, засмеялся и сказал так и стоявшему с высоко поднятыми руками генералу: «Опустите руки. Садитесь, генерал Власов... бывший генерал, вон в тот мотоцикл». Повернулся к солдатам и стал отдавать команды, как рявкал. Один из солдат повернул автомат в сторону старика с мальчишкой и выстрелил очередью. Мальчик и старик упали. Другой солдат прошел к мотоциклу, достал из багажника канистру, зашел в дом и вышел, пятясь, поливая бензином из канистры. Потряс канистру и отнес ее в мотоцикл. Хозяйственный. Вернулся, зажег спичку и бросил в открытую дверь. Дом загорелся сразу — сухой.

— Что же они, гады, делают! — шептал пересохшими губами Николай, стягивая ладонью землю. — Ребенка, старика! А генерал-то, сука, солдата застрелил, чтобы не мешал сдаться. Да и нас отправил. Давай убьем его? Пусть потом они нас, но убьем. Или, Сашка, уходи, а я его прикончу.

— Ты мне приказывать не можешь. Ну, убьем, а кто знать-то будет, как он предал армию, Родину? Его все равно поймают и расстреляют. Предатель он. А нам надо вырваться и все рассказать.

— Да как же мы перед своими покажемся, если эта сволочь живой останется? Нет... — Николай тихо передернул затвор. — Вот... Последний патрон. Уходи, Сашка, я выстрелю и побегу.

— Вместе побегим или вместе умрем. А стрелять буду я. Я стреляю лучше — ты же знаешь.

— Хорошо. Но только прямо в сердце.

Александр взял винтовку, прицелился и выстрелил. Сидевший в мотоциклетной люльке генерал дернулся, вскрикнул, захрипел и, заваливаясь набок, выпал из люльки. Готов! Немцы беспорядочно стали стрелять по кустам. Но лейтенанты уже бежали, наклонившись и петляя, к деревьям. Винтовку не бросили. Немцы, постреляв, взревев моторами, уехали, увозя труп генерала-предателя.

Лейтенанты вернулись и вышли на поляну. Дом горел, людей не было; несмотря на жар от полыхающей избы, вошли в сарай, выпустили нескольких овец и куриц, вынесли лопату. Вырыли могилу и похоронили мальчика с дедом и солдата. Постояли, сняв пилотки, и пошли к болоту. Через два дня они вышли к своим...

Генерала спас маленький, покрытый красной эмалью флажок на знаменитом ордене. Хорошая была эмаль: раскололась, гася удар пули, металл погнулся, вдавливаясь в грудь, но выдержал. Генерал-лейтенант, любимчик великого Сталина, «спаситель Москвы», орденосеиц, заместитель командующего фронтом Андрей Власов, предав армию, солдат, Родину, сдался врагу! И умирающие, голодные, погибающие солдаты 2-й ударной армии, сразу все, и мертвые, и еще живые, стали, по воле великого вождя, предателями Родины! Все!.. «Власовцы!»

Били страшно! Били, превращая лица в кровавое месиво, ломая ребра и пальцы. Особый отдел НКВД!

— Ты, сука каторжная, как посмел наговаривать на знаменитого командарма, на орденоносца, на героя битвы под Москвой? Ты, мразь, смеешь говорить, что Андрей Андреевич Власов добровольно сдался в плен! Ты, падаль, ползаешь здесь, передо мной, в своем го... не и еще и говоришь, что ты в него стрелял. Степан, добавь! — кричал капитан госбезопасности.

Степан, громадный, толстый солдат, на котором не сходилась гимнастерка, а рукава были подвернуты, принимался за свое палаческое дело. С удовольствием служил. Бил с расстановкой, с оттягом, только кости трещали.

— В то время, когда доблестная вторая ударная армия бьется с врагом, разжимая фашистское кольцо, сжатое вокруг любимого города, когда каждый ее солдат с криком «За Родину! За великого Сталина!» бросается в битву, ты и твой братец, предатели, бросили своего командира, ползком, как гады, выбрались и прибежали рассказывать небывилицы о массовой гибели солдат, о голоде, о предательстве Андрея Андреевича Власова... Ты заслан фашистами, чтобы разлагать нашу великую Рабоче-крестьянскую Красную Армию. Приполз на брюхе, чтобы жизнь себе спасти! Но просчитались твои новые хозяева, мы, чекисты, быстро тебя с братцем раскусили. Нет, расстрел перед строем это не для тебя. Тебя мы забьем до смерти. Поддай ему, Степан! — продолжал орать следователь.

Когда один из братьев падал без чувств и уже не реагировал на пытки — тащили в подвал, бросали на холодный сырой пол и принимались за другого брата. Сменялись следователи, палачи Степаны били сутками, без передышки, неделю. И правы были чекисты — избавление, расстрел еще надо заслужить!..

Вдруг что-то изменилось: Николая, а может, Александра — не узнать под кровавой маской вместо лица — посадили, придерживая, на табуретку, повернули в лицо свет лампы; а он уже не реагировал, и спросили:

— Так ты говоришь, что Власов сам сдался в плен к немцам?

— Да, — тихо прошептало месиво вместо губ.

— И ты его застрелил?

— Да, — опять раздался шепот в ответ.

— А вот это что? — следователь показал газету.

— Что? — прошептали губы. — Я не вижу. Свет уберите.

— Это, сука, газета немецкая с фотографией, на которой предатель генерал сидит в кругу немецких офицеров. (На фотографии у генерала на груди был один орден и левая рука висела на повязке.) А ты говоришь, что стрелял и попал в сердце? Сука, генерал к немцам ушел, а вас обратно, сюда, забросили, чтобы диверсии совершать? Может, скажешь, не так?

— Я стрелял. Я попал — генерал мертвый упал. Я бы еще выстрелил, но у нас был один патрон.

— Что же вы, с братцем своим, не накинулись и не задушили предателя своими руками, а, наоборот, как трусливые зайцы, бросились наутек спасать свои поганые шкуры?

— Он упал мертвый из мотоцикла, я его убил. Почему он живой, я не знаю, я ему в сердце попал. Брат подтвердит.

— Он уже подтвердил. Видимо, Степка мало вас бил — договорились между собой. Даже если предположить, что ты в него стрелял — все равно вы оба предатели, вы бросили армию, вы сбежали с поля боя. Вас ждет расстрел.

— Слава богу, отмучились, — прошептало кровавое месиво.

Но больше не били. Суд — военный трибунал был, как всегда, справедлив и суров — расстрел. И когда уже повели бывших старших лейтенантов, желавших одного — смерти, к строю солдат с винтовками, какой-то солдатик принес из штаба приказ: заменить расстрел пятнадцатью годами лагерей, как дезертирам, бросившим оружие и убежавшим с поля боя. Приказ был подписан самим Верховным главнокомандующим, маршалом Советского Союза И. В. Сталиным. Какой почет! Про Власова в том приказе не было сказано ни слова.

Просто Сталин, взбешенный предательством своего любимчика, запросил у НКВД сведения, как генерал мог живым сбежать к немцам? Где органы были — проспали? Ознакомившись с данными допросов предателей-лейтенантов, Сталин обратил внимание, что на фотографии Власов сидит с подвязанной рукой и с одним орденом на груди. Запросили разведку о возможности уничтожения предателя. И дополнительно, по агентурным каналам, из Берлина пришла шифровка, что точно в генерала, во время сдачи в плен, стреляли, и что генерала-предателя спас орден Боевого Красного Знамени, в который попала пуля — отсюда и повязка, и отсутствие одного из орденов.

Хорошие ордена у советской власти — крепкие, а главное — заслуженно даются! Некоторым героям жизнь спасают.

Сталин вначале хотел старших лейтенантов наградить и звания капитанов присвоить, а потом подумал: «Как это наградить? Они же с поля боя вместе с генералом бежали!» и наложил резолюцию: «Разжаловать. Никаких штрафбатов. 15 лет лагерей. И. Сталин». Повезло лейтенантам!.. Сам вождь заступился!

Пыль... лагерная (продолжение)

Что такое пятнадцать лет? Это медленная смерть, это ежедневная мечта — лучше бы расстреляли. Это мучение за семью, которую репрессируют.

И пошли два молодых человека, бывшие старшие лейтенанты Красной армии, бывшие орденоносцы, бывшие защитники родины, а теперь предатели, мразь, грязь в лагеря, где миллионы таких же, безвестных, безымянных людей, кайлом и лопатой, по приказу Кремля, спасали всю эту кремлевскую власть от поражения.

Двух Маш, двух студенток, двух подготовленных для войны медиков, арестовали сразу, как только документы на предателей-мужей пришли в управление НКВД Архангельска,

в отдел, которым руководил подполковник госбезопасности Анисим Иванович Роков. И даже ночи не дожидались — в институт приехали и из операционной, где они ассистировали на операции, вывели. И так, в халатах, в наручниках, привезли в здание НКВД, и подполковник зачитал постановление о лишении их всех гражданских прав и отправке в лагерь сроком на десять лет. Не били, изнасиловали только многократно — и сразу в пересыльный лагерь, а оттуда куда-то еще дальше... Пыль лагерная!..

Война (продолжение)

Алексею, сыну Дмитрия Васильевича, повезло: он после ссылки в Мезень больше в Ому не вернулся — его Анисим Роков в списках освободившихся и не обнаружил, и в лагерь, как брата Владимира, не сослал. Вот повезло!.. Жил в другой деревне с семьей и даже в артель устроился. Жил, детей растил и был счастлив тем, что вот так легко отделался.

В начале войны, когда вождь и его великие маршалы думали, что одолеют немца силами армии, Алексея не призывали, и у него последняя доченька, Анечка, родилась. А в сорок втором начали всех под гребенку брать. Советская власть как всегда прекрасно воевала — миллионы полегли! И забирали уже не разбираясь, что когда-то кто-то сидел. Дочку и обнять толком не смог, до того еще мала была, и пошел на Ленинградский фронт. Шли пешком, через Мезень, на Архангельск. А там поездом — и через Ладогу в Ленинград. На Ладоге бомбили, и половина новобранцев утонула.

Город был страшен. Грязный, темный, холодный, мертвый после первой блокадной зимы и не готовый к следующей. Люди были похожи на тени — держась за стеночки, брели вдоль домов. Еды не было. И крыс не было — съели! Пустой город был!..

Переодели в старые, стиранные, пахнущие хлоркой, в заплатках гимнастерки, снятые с убитых солдат, выдали обмотки и тяжелые кирзовые ботинки. Шинелей, несмотря на осень, не дали — не было шинелей. Винтовку Мосина выпуска Первой мировой войны, одну обойму и трехгранный русский штык. Все — в бой.

Не доходя до передовой, подскочил к командиру роты офицер, подтянутый, со скрипящими ремнями портупей и чистой форме, по знакам отличия — майор государственной безопасности.

— Начальник особого отдела полка майор Некапчук, — представился, но честь не отдал. — Отберите, старший лейтенант, четырех бойцов и направьте со мной.

— Зачем, товарищ майор госбезопасности? У вас своих солдат достаточно.

— Не спорь, ротный, у меня все на передовой сдерживают паникеров и дезертиров, что с поля боя бегут. Твои побегут — тоже сдерживать будем. Воц, у тебя медаль есть, так что знаешь, что да как — объяснять не надо!..

— Все равно не понял — зачем вам мои-то бойцы?

— Расстреливать будут власовцев.

— О, Господи!

— Ты еще перекрестись. Давай, времени нет!

Ротный оглядел своих бойцов, понимая — если не подчинится, расстреляют. Одно слово — НКВД. И что надо послать на такое тяжкое, не солдатское дело таких, кто постарше, чтобы выдержали, и отобрал четверых солдат, в том числе и Алексея Ружникова.

И этих четверых, как маленький табун, без строя, повели к кирпичным домам недалекого городка, где остановилась сформированная воинская часть. Когда пришли, майор ушел, а к солдатам подошел сержант. Не злой, седой, старый.

— Чего нас сюда пригнали-то, сержант?

— Неужели не поняли? Расстрельная команда вы!

— О, Господи!

Солдаты закрестились.

— Я не буду стрелять! — крикнул один.

— Тогда тебя, по законам военного времени, вместе с ними поставят.

— Так, наверное, у вас есть свои — такие, кто стреляет?

— Есть. Только слышите канонаду? Это вашего брата опять на прорыв бросили, а сзади наши сидят... С пулеметами!

К стенке подвели двух избитых до неузнаваемости, в грязных и в пятнах бурой крови кальсонах и нательных рубахах, переминающих босые ноги на битом кирпиче солдат. Лица были так изуродованы, что черты нельзя было разглядеть.

— За что их? — спросил у сержанта Алексей.

— Так, говорят, дезертиры и шпионы... Братья... А еще, говорят, с генералом Власовым к немцам хотели перебежать. Власов-то успел, сдался, а этих наши сотрудники захватили. Так что, ребята, не жалейте: трусы они и предатели.

— Люди они, — сказал Алексей и подумал: «Мимо стрелять буду».

Вернулся майор и командовал:

— Становись! Сержант, тоже в строй!.. Предупреждаю: не вздумайте стрелять мимо. Вы, двое, — вон в того, а вы, двое, — в того. Не промахнетесь с десяти-то шагов. Сержант, потом проверь, сколько дырок будет... Готовьсь!.. Целься!.. По предателям и врагам нашего народа... — майор поднял руку с пистолетом и прицелился.

Алексей прикрыл глаза и подумал: «Пусть расстреливают — убивать не буду!» И краем глаза увидел, как к ним бежит какой-то солдат и кричит: «Товарищ майор, товарищ майор... Остановитесь!..»

— Что еще? — недовольно сказал майор.

— Бумага на расстреливаемых пришла! — закричал солдат, подбежал, протянул бумагу. — Вот!

А дальше было только слышно, тихо: «Приказ... Товарищ Сталин... Пятнадцать... лагерей...»

— Черт! — выругался майор. — Расстрел отменяется. Сержант, отведите бойцов в их часть и сдайте их ротному. Смотрите, чтобы по дороге не разбежались. Им завтра в бой. Головой ответите!..

— Есть, товарищ майор. Пошли, ребята. Ох, несказанно же вам повезло. Я ведь понял, что стрелять в людей не будете. А уж этим-то, братьям, как... Такого ни разу с начала войны не видел!.. Пошли.

Шли молча, понурые. Сержант подошел к Алексею, по возрасту где-то одногодок.

— Ты откуда?.. Воевал?

— С севера. Не воевал.

— Эти, которых расстреливали, тоже с севера. Братья, лейтенанты. Мне мужики рассказывали: они во Власова стреляли, да не добились, а им не поверили. Били жутко. Как выдержали...

— А Власов — кто?

— А вы еще не знаете? Это генерал-предатель. Армию в окружение завел и бросил, а сам немцам сдался. Вот кого надо поймать и за яйца подвесить, а не этих мальчишек. Сейчас эта армия там, за линией фронта, вся погибает, а наши... тьфу... стерегут, чтобы никто не вырвался. Они все предатели, чохом... Все!.. Вот на какой фронт вы идете. Я на передовую не попал, потому что больной... Деревня моя в псковской губернии, под немцем. А я вот здесь. Лучше бы на передовую и смерть, чем смотреть, как эти суки людей калечат да расстреливают! Жуть!.. Лучше не видеть!..

— Что же это — из окружения выходят, а их расстреливают?

— Не всех — часть в штрафбат, других в лагеря...

— Понятно — лучше, чтобы сразу насмерть на поле боя.

— Получается, что так. И сколько народу за так положат, никто не знает. Но уж лучше как вы, чем как эти суки!.. Сбегу, ей богу, сбегу!..

— Так пошли с нами?

— А попробую! Чем черт не шутит. У вас ротный как?

— Да вроде нормальный мужик: воевал, медаль имеет.

— Ну, вот и хорошо...

Ротного уговаривать долго не пришлось. Ему каждый штык важен. Присоединился солдат перед боем, ну и присоединился. При такой-то неразберихе. Не с поля боя бежит — сам в бой, на смерть, стремится — уважать надо! Только сказал: «Винтовку в бою добудешь. Там, говорят, много лежит».

Дальше шли вместе: Алексей и сержант Иван Стрельцов, псковский мужик, обстоятельный, с широкими мозолистыми крестьянскими ладонями.

А навстречу — раненые, раненые, раненые. И вдоль до роги в ямы выкопанные мертвых солдат, тех, кто не дошел, в одних кальсонах бросают. Без отпевания — красно-армейцы!.. И дезертиров ведут — конвоиры все с автоматами и в сапогах.

Никто никого никакому бою не учил: так, показали, как заряжать винтовку да целиться, а главное, «на русский штык уповайте» — немец его боится. Как же, испугался, с пулеметами-то!..

На передовую пришли ближе к ночи. Хорошо, что окопы рыть не надо. От предыдущих, что все полегли, остались, а тем — от предыдущих и так далее... Да и зачем окопы?.. Завтра — смерть!..

Одно хорошо: когда сформировали, паек выдали: хлеба полбуханки. Это в блокадном-то Ленинграде! Выдали, когда

уж город прошли. Научены — солдаты, в слезах от увиденного ужаса, жителям весь хлеб по дороге отдавали. А вели через город, чтобы злее были, чтобы знали, кого защищают. К Смольному близко не подходили: не дай-то бог, увидят, как окна празднично светятся да лимузины, начищенные до блеска, въезжают-выезжают. А если бы еще увидели столы с едой... Это вам не крыс есть...

Еще и расположиться не успели, а уже команда: «Утром пойдем в атаку, оружие к бою приготовить. Костры не разводить...»

Алексей с Иваном, вдвоем, углубление в стенке окопа вырыли, сухих веток нанесли, воды из ручья черпнули и, плевать на приказы, кипятку из бурой воды приготовили. И с хлебом, на двоих, — все меньше в животе урчит.

Какой сон перед первой, а может, последней атакой? Сидели на дне окопа и друг дружке о себе и своих родных рассказывали. Оказалось так похоже, как будто рядом, вместе жили, в одной деревне.

К утру сзади появились солдаты с пулеметами. Устраивались основательно.

— Ну, вот и *мои* появились. Суки! — сказал Иван Стрельцов.

В пять утра, в рассвет, ракета взлетела, ротный закричал: «Ура! За Ленина! За Сталина! Вперед! Ура!..» и первый из окопа выполз. Смелый. И все: кто спокойно, а кто и с лужей в штанах, выползали из окопов и, наклонившись, без всяких криков, а с хрипом страха из сразу пересохшего рта, пошли в утренний туман, туда, вперед, на врага. А по полю солдат убитых!.. Так что ротный оказался прав насчет винтовки...

Прошли сто шагов, двести — все убитые, и немец не стреляет. Может, убежал? Тут дурная радость у кого-то в голову ударила, заорал: «Ура-а-а!» И сразу выстрел — точно в крикнувшего, и вновь тишина. И пошли дальше, склонившись, в страхе, и когда в расплывающемся утреннем тумане увидели немецкие окопы и солдат в касках, с огоньками

сигарет, не поверили. Ротный заорал: «Вперед! За Родину! За Ста...» — и все, пулеметы начали косить людей, как траву.

Пуля попала Алексею в грудь, и он захлебнулся кровью и упал. Рядом упал Иван и зашептал: «Живой, Алексей? Куда тебя? Терпи, сейчас перевяжу...

— Все видно, Ваня, отжил...

— Я тебя вытащу. Ты потерпи...

Иван сунул Алексею за ворот гимнастерки кусок ваты. «Прижми! — и правую руку Алексея к груди прижал. — Дави, сколько сил есть...» А над головами очереди, очереди, а вокруг мат, смертный хрип: «Мамочка, как же больно!.. Санитара!.. Помогите!.. Суки!..»

Крики стали затихать, и стало слышно, как еще живые стали отползать назад, к своим окопам. И Иван, перекинув через грудь Алексея свой брезентовый ремень, потащил его в стороны родных окопов. Метров за пятьдесят раздался крик: «Куда? Предатели! Ни шагу назад, иначе стреляем!» И очереди над головами. «Суки, здесь же раненые!» — «Ни шагу назад — перестреляем всех!» И опять очереди. Какой-то солдатик не выдержал, вскочил, закричал дико: «На, стреляй! В своих, гады...» и упал от выстрела.

Иван потащил Алексея куда-то в сторону от пулеметов. Тащил и все хрипел: «Потерпи, Алексей. Потерпи... Только сознание не теряй... дави на грудь...» И вытащил к окопам с солдатами. «Давай, давай сюда...» — солдаты из окопа выползли и помогли. «Он раненый в грудь! Его в госпиталь надо!..» — прохрипел Иван. Закричали: «Санитара!.. Давай сюда санитар... Сестричка-то где?.. Опять с капитаном?..». Подбежала какая-то девчонка в наспех надетой, расстегнутой по вороту гимнастерке, склонилась над Алексеем, взглянула на рану и как-то обыденно произнесла: «Смотри-ка, в грудь, а живой? — и стала перевязывать бинтом поперх гимнастерки, потом спокойным голосом скомандовала: — Тащите его в землянку к раненым. Все равно не жилец».

— Спасибо, Ваня, — прошептал Алексей товарищу и потерял сознание.

— Выздоровлявай, Алексей Митрич, авось еще свидимся, — ответил тихо и устало Стрельцов и перекрестил Алексея.

Алексея унесли, а по окопу прибежал из заградотряда майор госбезопасности с двумя солдатами и закричал:

— Где у вас этот дезертир, что с поля боя сбежал? — увидел Ивана и удивленно проговорил: — Стрельцов? Сержант Стрельцов... Арестовать!..

Ивана Стрельцова увели, а сидевшие в траншее красноармейцы понуро сказали:

— Все, солдат Иван Стрельцов отвоевался.

Через три часа, избитого, раздетого до белья, босого Ивана Стрельцова поставили перед строем солдат с винтовками, и майор четким голосом скомандовал:

— За дезертирство, за самовольный уход из расположения части, за попытку побега к врагу, по предателю, по изменнику Родины... Огонь!..

И еще одним русским Иваном стало меньше на русской земле!..

А Алексея до госпиталя довели — здоровье родовое спасло, а так бы...

Но оперировать не стали — слишком много времени прошло после ранения. Таких вообще-то там, на поле боя, оставляют. Больше двух часов — и лежи!.. Хирург посмотрел, послушал и сказал: «Легкое спалось. Удивительно, что жив. Отсосем кровь из плевральной полости, может, и расправится».

Легкое не расправилось и стало гнить, и Алексей тихо лежал и умирал. Не вставал — высыхал и кашлял гноем

с кровью. Потом попросил товарищей по палате написать жене доброе письмо, что ранен в руку, потому и не может сам писать, что очень любит, скучает и обнимает, может, скоро приедет домой...

Ближе к зиме умер солдат Алексей Ружников, тихо умер. Прошептал только перед смертью: «Прости, Господи...»

Бросили в общую воинскую яму на Пискаревке, ту, что справа при входе... А слева не яма даже — огромный котлован, и в него гражданских скидывают, высохших от голода; скрюченные скелеты, тысячами и тысячами — не привести, господа, такое увидеть!.. Сколько — не сосчитать!.. Весь город!.. Поплакать бы над ними, да некому. Так и слез уже ни у кого не было — выплакали в первую блокадную зиму... Без слез хоронили — обыденно, такое-то количество, хорошо, что есть еще кому хоронить, не эти же из Смольного будут — это кладбище не для них, здесь ленинградцев хоронят...

Пыль... лагерная (продолжение)

Лагерь, в который попали братья Кожевины, был смешанным: и уголовники, и «политические» с кулацкими недобитками. Братья как дезертиры попали в барак к врагам народа. И их приняли на удивление хорошо, расспрашивали о боях на фронте и первыми узнали правду о генерале Власове. Самым старым, не по возрасту, а по количеству лет заключения, оказался, как здесь все его называли, «дед Владимир». Выяснилось, что дед-то земляк: они с Никитцы, а он с Омы — рукой подать: от речки до речки. Дед Владимир был совершенно седой, кашляющий кровью, больной старенький человек. Он сидел в ссылках и лагерях, с небольшим перерывом, уже двенадцать лет. И когда очередной, удивленный этим сроком зек спрашивал: «За что так долго сидишь, дед Владимир? За убийство?», слышали в ответ: «За маршала Ворошилова».

«А-а?!» — отвечали не понимая. Дед был болен и слаб. Он ходил на работу — рубить лес, но сидел в сторонке, кашляя, его норму выполняли другие. Конвой не возмущался. Он был для всех иконой, так как знал молитвы и мог отпустить грехи умирающим. Умирающих было очень много: и враги народа, и коммунисты перед смертью просили деда Владимира принять их покаяния, рассказывали о своих душегубствах, о расстрелах во время гражданской войны и коллективизации. Плакали, умирая, и просили отпустить им грехи, и негнушимися пальцами старались наложить на себя крест. Дед Владимир часто в своих молитвах обращался к неизвестной никому какой-то древней иконе Знамения. И люди верили ему, что есть такая икона, и она сохранит и спасет их в этих лагерях, в этом мраке бесчеловечности и горя...

В одну из зимних ночей весь лагерь пришел в движение: отдельно построили уголовников и врагов народа. Зачитали приказ о переносе лагеря. Но только для «политических»: врагов народа, кулаков и дезертиров. Уголовники заволновались: «А мы куда?» И получили ответ: «На фронт. В штрафбат. Все!» — «А если мы не пойдём?» — «Здесь ляжете!»

Дед Владимир до того был слаб, что хотел остаться, чтобы его здесь и пристрелили, но братья Кожевины не дали. Сказали: «Надо будет, мы тебя донесем. Генералов-предателей на спинах таскали, а уж тебя, дед, как пушинку...» Всех вывели за ворота, и колонна, в сопровождении конвоиров с автоматами, направилась на восток, на зимнее восходящее солнце.

В утренних сумерках навстречу колонне бредущих зеков шла воинская часть. Одеты были солдаты не лучше заключенных: шинели, пилотки, ботинки с обмотками.

- Эй, вы кто — штрафники? — крикнули зеки.
- Скажете! Штрафники лучше нас одеты.
- А куда вас?
- На убой!

Деду Владимиру показалось, что среди этих уставших солдатских лиц он увидел два до боли знакомых, до боли родных лица: братьев его жены — Павла и Григория Кокиных. Дед даже мотнул головой, а сам подумал: «Обознался». Колонны разошлись, и дед, придерживаемый своими земляками, бывшими старшими лейтенантами, бывшими орденосцами, дезертирами, братьями Кожевиными, побрел дальше, навстречу встающему красному солнцу.

Война (продолжение)

Шел 1942 год. Тяжелейший год в Великой войне. Войне, в которой два психа в своей, казалось бы, разной, но одинаковой по своей нечеловеческой сути идеологии, столкнули подвластные им народы в бойне вселенской войны; и уже миллионы солдат, стариков, женщин и детей лежали в земле и на земле — гнили удобрением для непосеянной пашни, для красной клюквы и калины, под березками и в дремучем лесу. Так незахороненными и остались.

И еще миллионы, десятки миллионов из-за бездарности вождя и его полководцев упадут на землю, защищая свою родину, свой дом, своих родных и близких. Но никак уж не за корявого, сухорукого уродца и такого же урода с челкой и усиками. Вожди, фюреры... вас в зародыше надо человечеству давить. Да как распознать?..

А еще миллионы своих, соотечественников, умрут в лагерях. Не вражеских, для военнопленных, а своих, для своих заключенных. Дайте им винтовки, пусть одну на троих, но дайте. И одну обойму. Добудут другие винтовки, в бою добудут. Врагу горло перегрызут, но добудут. Так нет же — это классовый враг. Он опаснее врага внешнего. Страх перед этой пылью лагерной у вождя был больше, чем перед немцем. И начались массовые расстрелы. Как будто они, шатающиеся от голода

зеки, были виноваты в оставлении врагу родной земли. «Ни пяди родной земли врагу!» — это лозунг не для них.

Не оставлять врагу ни зерна, ни скот; взрывавай, круши, жги! И взрывали, и жгли у своих же, у крестьян. А зек — враг! Его-то немцу никак нельзя отдавать. Расстреливали тысячами, десятками тысяч. Патронов не жалели, винтовок хватало. Да и откормленных охранников было достаточно. Огонь!..

Немец рвался на севере страны к железной дороге на Мурманск. Немецкие горные дивизии были переброшены в Норвегию и Финляндию. Немецкие егеря рвались к Канда-лакше. Не Кандалакша им была нужна — Мурманская железная дорога. Перережет немец дорогу — и все, ленд-лизу конец и войне, может быть, конец. Куда союзникам доставлять танки, самолеты, тушенку, бензин? Егеря — лучшие войска для войны в условиях Кольского полуострова. Берег Западной Лицы стал тем последним рубежом обороны, за которым была железная дорога и гибель советской страны.

Против егерей насмерть стояли замерзающие, в сырых шинельках, в сапогах, в пилотках, без рукавиц, с винтовками, по затворам которых приходилось стучать палками и кулаками, чтобы их повернуть, только что сформированные пехотные части из необученных, пригнанных из деревень и городов мужиков. И они стучали палками по затворам старых винтовок и стреляли, а им командиры, в таких же шинельках и фуражках, кричали, чтобы они берегли патроны. Для того чтобы они не разбежались, в эти неподготовленные части добавляли остатки выживших, из тех частей, что уже лежали мертвыми на этих скалах и полях. Они умели стрелять и совершенно не боялись смерти. А сзади, в вырытых этими солдатами, которые не умели стрелять, в полный про-

филь окопах, стояли одетые в полушубки, валенки, ушанки сытые, толстомордые бойцы заградительных отрядов НКВД, готовые в любой момент открыть огонь по этим замерзшим солдатам, если они вдруг дрогнут и побегут назад. И те знали, кто за ними стоит, и умирали в снегу от пуль немецких егерей. А еще чуть дальше, по железной дороге беспрерывно бежали поезда из незамерзающего Мурманского порта к Москве и везли американские и английские танки, самолеты, пушки, винтовки, консервы, сигареты, спирт... Но ничего из этого, бегущего за их спиной, не предназначалось для боев здесь, на столь казавшемся этим умирающим за родину солдатам важным Северном фронте. Поезда бежали по рельсам туда, под Ржев, под Вязьму, где великие военные стратегии великой войны позволяли немцам делать такие окружения советских войск, такие потери, что какая-то битва под Москвой показалась бы, так, обычным боем.

Бесноватый фюрер вдруг в который раз перекроил карту войны, приказав прекратить сражаться за Мурманск и Ленинград, и двинул все силы на юг, на Сталинград.

А другой сумасшедший вождь, с другой стороны войны, этого не знал и вместе с другом и соратником Лаврентием Павловичем Берией продумывал пути своего спасения, если немец переберет Мурманскую дорогу.

Пыль... лагерная! (продолжение)

Команда немецкой подводной лодки, командиром которой был прославленный любимец адмирала Денница Рифгофт фон Трамп, блаженствовала.

Трамп, с согласия адмирала, не гонялся «волчьей стаей» вместе с другими подводными лодками за кораблями противника. Он топил их в одиночку. Одинокий волк был этот «фон». Злой и сильный, безжалостный и умный.

Неделю назад, под носом у русских моряков, при входе в Кольский залив, в наглую пустил предпоследнюю торпеду в потрепанный и изувеченный в Северном море немецкой авиацией, кораблями и подводными лодками конвой транспортных кораблей союзников, охраняемый уже не англичанами, а русскими. Попал торпедой в транспорт с американскими танками и потопил стратегический груз.

И вызвал ярость! Нет, не за то, что транспорт на дно пустил, а что в русских водах. У нас дома!

И началась погоня. Не погоня даже — избиение. Глубинных бомб не жалели — кидали пачками! Лодка то ложилась на дно, то старалась хитрым зигзагом оторваться от погони. Тщетно!.. Переборки трещали, во всех отсеках было воды по колено, аккумуляторы садились, аварийный свет периодически пропадал. О глотке чистого воздуха приходилось только мечтать. Капут вам, фон Трамп!..

Так нет же — вывернулся, выскользнул морской волк Рифгофт фон Трамп из мертвой хватки русских моряков и рванул туда, куда не ждали... На северо-восток. По мелководью, на перископной глубине, убежал! Хоть бы один самолетик в ту сторону, сразу бы по тени от лодки обнаружили. Лето-то полярное, с солнцем незаходящим.

Далеко убежал Трамп — за Архангельск. И сейчас, на мелководье, зализывал многочисленные раны. Всплывал ночью; да, какая ночь в июле да на севере за Полярным кругом. Со страхом оглядывал горизонт и заряжал аккумуляторы, и продувал чистейшим северным воздухом отсеки лодки и легкие своим матросам. За недельку такого санатория матросики поправились и разленились. Иногда у горизонта пробегала какая-нибудь рыбацкая шхуна, но чтобы за ней гнаться, да еще, *мой Бог*, тратить последнюю торпеду... Ниже достоинства это для награжденного многочисленными крестами барона и аристократа по крови и убийцы по призванию Рифгофта фон Трампа...

Вот в такую светлую прохладную северную ночь, перед обратным походом домой, нежилась команда субмарины на палубе. Даже лежаки, набитые волосами удушенных газом, расстрелянных, замученных в концентрационных лагерях женщин, рыжая сероглазая матросня вытащила на палубу. Улеглась. Покуривала. Полудремно зевала. И фон Трамп покуривал, сидя на вращающемся стульчике, в малюсенькой надрубочной палубе. Вахтенный матрос в крепких руках держал поднос. А на подносе, на белой скатерти — хороший французский коньяк и термос с ароматным кофе, лимон и колбаса испанская, тонко-тонко нарезанная.

А чего бояться? Военных кораблей здесь нет, самолеты почти не летают, тем более, ночью. Блаженство!.. Где война? Где враг?

Когда, аккуратно прихлебывая горячий кофе, очередной раз фон Трамп поднял глаза к горизонту, чашка выпала из его рук, облив дымящей ароматной жидкостью отутюженные брюки и начищенные до блеска ботинки. Педант Трамп этого даже не заметил! Рот капитана открылся, чтобы проорать команду на погружение. Да все равно не успели бы! Проспал, проворонил вражескую атаку фон Трамп!..

На подводную лодку надвигалось какое-то чудовище, больше похожее на старый броненосец: широкое, тяжелое и дымящее черным дымом из трубы.

Трампа так и застыл, открыв рот. Страх побежал потом по спине. Машинально поднял бинокль к глазам. Опустил. Вновь, уже удивленно, поднял. Уронил на ремешке. И начал смеяться смехом каркающей вороны. А потом прокричал, скомандовал — и вскочила вся команда на палубе, продирая полусонные глаза.

По морю шел, дымя черным дымом, буксир. А за ним, на длинных концах — баржа. А на палубе баржи, не в трюме, три сотни завернутых в телогрейки, рваные платки, просто в грязное тряпье женщин. Зечки. Многие с малыши детьми.

Тащили баржу из Архангельска в устье реки Печоры, а там вверх, в лагерь, лес рубить. Ох как нужен воюющей стране лес!.. А эти женщины и их дети стране не нужны! Они враги народа, жены и дети врагов народа! Щепки!.. Отбросы государства. Пыль. Лагерная пыль!..

Забегали по палубе подводной лодки матросики, расчехляя пушку. И все-то медленно — разленились за неделю. Да и не умеет подводный флот воевать в надводном положении. На то он и подводный.

Гордое имя носил тот буксир — «Большевик»! Что там, на буксире произошло? То ли капитан оказался трусом, то ли командир охраны зеков, что пьянствовал в это время с капитаном буксира, приказал капитану (что на флоте непозволительно), но нет чтобы всей массой, вместе с баржой, протаранить лодку или расстрелять всю немецкую команду на палубе... Пулемет «Максим», спаренный, на носу буксира стоял, чтобы от самолетов отбиваться. Из такого-то оружия враз бы, в секунды, всех матросов с палубы подлодки смели. В упор! На палубе-то почти вся команда была — нежилась. Не просто лодку могли бы утопить — захватить бы могли. И Трампа, вместе с его крестами на кителе, захватили бы. Героями бы стали!

Так нет же! Буксир вдруг начал работать винтами — назад, скинул концы с кормы и давай выписывать зигзаг... Побежал от немца!..

Вместо паники и дикого смертельного страха к Трампу вернулась уверенность. Дал он всего одну команду: «Огонь!», и по убегающему буксиру из пушки стали посылать снаряды. Третьим снарядом и прикончили. Попали прямо в зад буксиру. У трусов кормы не бывает!.. Взлетел на воздух буксир вместе с героической командой и столь же героическим начальником охраны. Туда им и дорога. Не на небеса. В ад!..

А что же делать с баржой? Баржа и снаряда не стоит. А вот груз на барже более чем стратегический. Огонь!.. И на-

чал фон Трамп из пистолета, а его команда из автоматов, расстреливать женщин и детей. Стрельба по живым мишеням — лучше, чем в тире или на кабанов в баронских угодьях!

На барже с зечками была будка, где два охранника с винтовками, в тулупах, шапках и валенках с галошами пили прихваченный с собой самогон. Здоровую бутылку. Так и охранники были не маленькие: откормленные в тех областях нищей страны, где всегда закусывают салом, луком, чесноком и хорошим караваем хлеба. Все это у них было.

Но как услышали они стрельбу да выглянули в узкое, как щель, окошко, так попадали от страха на грязный, заплыванный семечками пол, руками голову прикрыв.

А немцы спокойно, размеренно, с расстановочкой, сигаретку изо рта не вынимая, расстреливали мечущихся по палубе баржи или лежащих, прикрывающих своими телами детей женщин. Только кровь фонтанами лилась из дырок в ватниках да платках. Да щепки от палубы отскакивали.

С воем умирали, с диким женским стоном!..

Две зечки, две подруги, ломая ногти, срывая в кровь, до мяса, пальцы и ладони, сломали дверь в домик охранников. Откуда и силы такие взялись? То силы не страха были — ярости! Охранники даже не шевельнулись. Схватили женщины винтовки, передернули затворы и выскочили из будки на скользкую от крови палубу. И давай посылать в немцев пулю за пулей. Откуда и опыт? Жены, наверное, расстрелянных красных командиров? Да двоих матросов и убили. Трамп заорал: «Погружение!» Побежали матросы. Зечки еще парочку убегающих в спину снесли с палубы.

Лодка задраилась. Погрузилась до рубки... И пустила в баржу, в упор, последнюю торпеду. Взрыв!.. От взрывной волны лодка аж из воды подпрыгнула; баржа накренилась и пошла медленно на дно. На воде вперемешку плавали трупы с еще живыми, поднявшими над головами свертки грудных детей женщинами.

Лодка всплыла. Трамп вышел на рубку — оглядел поле боя. И скомандовал: «Вперед!» И пошла лодка, расталкивая, наматывая и рубя винтами и живых, и мертвых. Мелко же, да и баржа под днищем. Прошла, да и нырнула. Все. Только летнее незаходящее солнце и море, и крики чаек. Тишина!..

Потом долго на пустынный берег Баренцева моря выносило трупы. Трупы маленьких детей. И странные матрасы, набитые длинными красивыми женскими волосами.

Так бы и не знал никто, куда делась баржа с зечками. Не велика потеря. Вот буксир пропал — жалко!..

Но немцы — пунктуальный народ. Позже, после войны, в архивах, нашли бортовой журнал с лодки героя войны Рифгофта фон Трампа, умершего на приличной пенсии, в уютном домике с красной черепичной крышей, где-то в лесистых предгорьях Баварии. Пивко, наверное, хорошее, немецкое, да шнапсик крепкий на ту пенсию до смерти бравый капитан попивал, да колбасками баварскими закусывал.

В том журнале черным по белому было записано, что такого-то числа лета 1942 года был потоплен в результате торпедной атаки русский транспорт водоизмещением пятьсот тонн со стратегическим грузом. И квадрат указан. Сопоставили даты, факты: никаких кораблей, а тем более со стратегическим грузом, в этом районе в те дни, да и другие тоже, не было. Данная немецкая подводная лодка, да — была. Только, по нашим архивам, она, за неделю до описываемых в журнале событий, была потоплена, правда, в другом районе; и даже кое-кто, в основном, в штабах, подальше от моря, получил ордена и повышения. Как же — самого Трампа утопили!..

Команде буксира позже поставили памятник в одном из северных городков, как героям, принявшим бой с неравными силами противника и славно погибшим за нашу социалистическую родину в том героическом бою с немецко-фашистскими захватчиками.

Ну а зечки и их дети?.. Так они же пыль. Их в расчет родная страна не берет. Только для врагов они стратегический груз...

Конец

В большом кабинете, обитом дубовыми панелями, в любимом всем советским народом Кремле, в мягких сапожках, бесшумно ходил Дьявол. Воняло дьявольским зельем — табаком. Дьявол тихо ходил вперед-назад по огромному кабинету, а его помощник, такой же дьявол, только рангом поменьше, сидел и двигал туда-сюда головой с профессорским пенсне на носу.

— Коба, а что будем делать с зеками? У нас же там, к Архангельску, сплошные лагеря. И в них очень, очень много врагов народа.

— А что ты, Лаврентий, предлагаешь? — вопросом на вопрос ответил Сталин.

— Я думаю, что надо поступить, как всегда, как учит нас товарищ Сталин — с врагами не церемониться: уголовников в штрафбат, искупать кровью свою вину перед родиной, «политических»: врагов народа, кулаков — в расход. Пойми, Коба, а вдруг они устроят бунт и ударят нам в спину? Что тогда будет? Они же враги, они только об этом и думают!..

— Эх, Лаврентий, Лаврентий, все у тебя на уме одни враги; если тебя послушаться, то скоро воевать некому будет: на фронте миллионы погибли, да ты еще и в тылу миллионы хочешь расстрелять?

— Товарищ Сталин — это же враги! Они не будут воевать за советскую власть. Они воткнут данный им штык в спину наших славных бойцов. Война!.. Надо их всех там, на месте, расстрелять.

— Лаврентий, ты — преданный дурак. Ты забыл Катынь? Еще раз хочешь, чтобы я в это го... но ступил? Чтобы, если

немцы дойдут до лагерей, раструбили на весь мир о наших зверствах?

— Можно подумать — у них не так.

— Так, не так, но у них Красный Крест. А те такую вонь подымут... в Америке с Англией... что ленд-лиз, под давлением их демократической общественности (Сталин мелко, в прокуроренные усы, засмеялся), накроется, как говорим мы, русские, «медным тазом». Нам это надо? А надо, Лаврентий, подальше от фронта построить временные лагеря, только для проведения этой операции, а потом все следы уничтожить. Не мне тебя учить, Лаврентий, — Сталин сделал пометку в настольном календаре. — Через неделю жду с докладом.

— Слушаюсь, товарищ Сталин. Разрешите идти выполнять приказ.

— Лаврентий, не прикидывайся. Тебе не идет военная форма, потому ты и в штатском. И военные ответы тебе не идут.

— Разреши, Коба, начать подготовку. Времени ты дал мало.

— Тебе хватит. Ты, Лаврентий, справишься. Иди.

— Один вопрос, Коба: что делать с исполнителями?

— Лаврентий, ты задаешь ненужные вопросы и отнимаешь у меня время.

— Я понял!

Лаврентий Павлович Берия, всемогущий руководитель НКВД, самой страшной организации, в которую гитлеровское гестапо, когда создавалось, перенимать опыт приезжало, вышел из кабинета И. Сталина...

Через неделю в кабинете Сталина, разложив на столе карту севера-запада РСФСР с отметками-флажками и листки-справки, Берия докладывал товарищу Сталину план операции по уничтожению врагов народа.

— Товарищ Сталин! — тихо, но четко, с небольшим акцентом, сказал Берия. — В соответствии с вашим приказом...

Сталин перебил:

— Никакого моего приказа не будет.

— Да, товарищ Сталин. Извините — ошибся. В соответствии с предлагаемым планом, в тылу, в ста – ста двадцати километрах от линии фронта, будут развернуты десять временных лагерей. Каждый сможет принять от четырех до десяти тысяч заключенных. Заключенных в ныне имеющихся лагерях разделят: уголовников направим в штрафные батальоны, врагов народа, кулаков — в эти десять лагерей. По расчетам, всего семьдесят тысяч пятьсот тридцать один заключенный.

— Вот за что я люблю тебя, Лаврентий, — за точность. Давай дальше.

— Команды этих временных лагерей сформированы, они уже находятся на объектах — руководят строительством, готовятся выполнять задания. Начальники этих лагерей отобраны из преданных, проверенных работников органов НКВД и также находятся на объектах. Сопровождающие зеков конвойные команды, после доставки заключенных, будут направлены охранять заключенных в Сибирь, в разные лагеря. Они в операции по ликвидации участвовать не будут. После выполнения задания команды временных лагерей будут... расформированы.

Сталин посмотрел на карту и концом трубки ткнул в один из флажков.

— Вот это что за лагерь, Лаврентий?

Берия нагнулся над картой, подслеповато, придерживая пенсне, посмотрел на кончик трубки и прочитал:

— Березник, — взял листок со справкой, пробежал глазами, читая, и продолжил: — Березник, маленькая деревня на десять домов. Все жители выселены. Лагерь рассчитан на одновременный прием до пятисот заключенных. Бараки, забор, вышки. Через этот лагерь будет проведено четыре тысячи шестьсот пять человек. Если, конечно, все дойдут. Заключенные будут идти пешком пять дней. Время операции в лагере — десять – двенадцать дней.

— Никаких десяти дней, Лаврентий. Неделя, не больше.

— Есть, товарищ Сталин. Команда лагеря — пятнадцать человек. Оружие: пулеметы и автоматы. Начальником лагеря назначен подполковник Роков из управления НКВД по Архангельской области.

— Не жалко подполковника, Лаврентий?

— А он все время сам просится в бой, устал я от его докладных. С тридцатых годов пишет. Этого не добились, того не расстреляли. Вот пусть и постреляет от души, за все годы отстреляется. Да у меня таких стрелков предостаточно!.. Лагерь после окончания операции будут уничтожены — сожжены. Свидетелей не останется.

— Не тяни, Лаврентий, начинай. Время поджимает, немец притих — значит, затевает против нас что-то...

Участь десятков тысяч заключенных была решена в теплом тихом кремлевском кабинете. Дьявол принял решение — отлаженная машина убийств заработала. Сталин закурил — в кабинете завоняло...

В начале зимы 1942 года секретным приказом НКВД были организованы новые, особые, лагеря для заключенных. Они были построены вдали от городов и крупных поселений. В лагерях были высокие глухие заборы и вышки по углам. Бараки были сооружены из досок и продувались насквозь. Ни нар, ни печек в бараках не было.

Один из таких вновь созданных лагерей был построен возле маленькой деревушки Березник. Как же много в России Березников!..

Замерзшую толпу зеков, бредущую пятые сутки, туда, на восток, навстречу встающему в утреннем морозном тумане красному солнцу, повернули с широкой дороги на небольшую

проселочную дорожку, такую, что зеки сбились в узенькую ленту, запинаясь о сугробы, выступающие по сторонам дороги; охранники начали ругаться матом, сойдя с дороги и утопая в снегу. Заключение шло пять дней, с утра до позднего вечера, и уже к ночи, разведя костры, ели черные сухари, запивая их кипятком. Другой еды не было. Охранников, одетых в полушубки, ватные штаны, шапки, валенки, вооруженных автоматами, было необычно очень много. У них были свои костры, и от этих костров тянуло в сторону зеков настоящей едой, мясом и чаем. Несколько зеков, не выдержав, попробовали пробраться к охранникам и что-нибудь украсть, но были застрелены. Утром тех, кто не мог идти, били, и если они не подымались, пристреливали. Могил не рыли — забрасывали снегом: и тех, кого пристрелили, и замерзших за ночь — звери съедят. Всех, кто падал по дороге, добивали одним выстрелом в голову.

Пять дней назад, ночью, их лагерь подняли и, отделив «политических» от уголовников, погнали врагов народа сюда, на восток. Уголовникам дали винтовки (одну на троих) и повели в бой на берег северной речки Лица.

Дед Владимир настолько ослаб, что уже не мог самостоятельно идти и готов был лечь, и считал за благо быть застреленным. Земляки, бывшие старшие лейтенанты Николай и Александр Кожевины, тащили старика, не давая ему упасть, а ночью, напоив кипятком, ложились с боков, чтобы он не замерз.

Узкая дорожка повела мимо маленькой деревни к видневшемуся вдалеке забору лагеря. Конец пути! Кто-то в бредущей толпе спросил: «Что это за деревня?» И услышал среди тысячи хрипящих вдохов-выдохов: «Березник».

— Ну, вот и все! С Березника начали, с Березника и закончим, — тихо произнес дед Владимир.

— Ты о чем, дед? — спросил один из братьев Кожевиных.

— Я о своем, о родном. Когда-то, очень давно, лет двести пятьдесят назад, может, больше, наш прадед Степан пришел

из Великого Новгорода в место на реке Мезень, которое называл Березник, а я заканчиваю жизнь в Березнике!

— Брось, дед Владимир. Все будет хорошо... Вот и лагерь. Сейчас отдохнем, отогреемся, кипятку попьем.

— Нет, сыночки, все, пришел и мой конец. Наконец-то, отмучился. Всего полсрока, ворошиловских, добавленных, отжил!

Смертельно уставшая, медленно бредущая толпа зеков втянулась, как ползущая, шатающаяся змея, в открывшиеся ворота лагеря.

Печек в бараках не было. Костров не было. Нар не было. Из щелей дуло. Но люди настолько устали, что были рады, что им больше никуда не надо идти, что можно просто упасть и заснуть. Все падали замертво на промерзшую землю и засыпали! Дед Владимир не спал, он чутьем старого зека, самого старого среди всей этой многотысячной толпы, вдруг понял, для чего они пришли в это столь знакомое по названию место. Он понял, что они пришли сюда умирать. Пока эти долгие дни они шли сюда, он все отгонял от себя эту мысль, а тут явственно понял, что все — это конец его жизни! Вздохнул с облегчением.

Утром никого не кормили, вывели из бараков и произвели перекличку, отобрали, выкликивая по списку, несколько сотен зеков. Перекличкой руководил начальник лагеря, подполковник Анисим Иванович Роков. Он, наверное, не узнал в сторбленном старике своего земляка. Перед ним за последние годы прошли тысячи врагов народа, как непрерывная серая, безликая лента прошли. А вот Владимир узнал его. Прошептал: «Судьба. Рок».

Выкрикнутые заключенные вышли из строя — остальных вновь закрыли в бараках. Среди отобранных оказались дед Владимир и оба Кожевиных: Николай и Александр. Всех выводили из лагеря уже через другие ворота. Вывели и ворота закрыли. Впереди, по сверкающему от встающего солнца снегу, шла широкая очищенная дорога, ведущая к опушке

леса. А на опушке среди холмов выброшенной земли, с воткнутыми лопатами, стояли солдаты, а рядом с ними пулеметы. Солдаты ежились в белых полушубках и постукивали валенками. «Вперед!» — раздалась команда. Конвоиры стали по сторонам и сзади. Толпа зеков ахнула, попятилась и вдруг безропотно, молча пошла. Пошла на убой!.. Как стадо!..

К деду Владимиру тихо сзади подошел начальник лагеря и сказал: «Ну, вот Владимир Митрич, и встретились. Я твоему отцу обещал, что всю вашу семью изничтожим, как врагов народа, да он успел увернуться — сдох. А тебя вот бог мне оставил. Иди, смерть твоя, вон там, у ямы, дожидается». И толкнул в спину. Дед Владимир упал бы, да братья подержали. Взглянули с ненавистью на начальника лагеря. «Ничего, сволочь, и твое время придет!» — сказали и пошли, крепко держа под руки деда Владимира. На смерть пошли.

Дед Владимир вдруг тихо, но явственно произнес, обращаясь к братьям:

— Это Роков Анисим, земляк... Сыночки, как подойдем, я драку устрою, а вы бегите к лесу, дай бог, чтобы убежали. Но чтобы вот так умирать — не по-людски, не по-христиански, как скот...

— Ты понял, Александр?

— Понял, брат.

Когда подошли к огромной яме, шарахнулись — на дне лежали убитые люди. Это были такие же заключенные, пригнанные сюда на строительство лагеря за несколько дней до появления этих, стоящих в страхе перед ямой заключенных. Они эту огромную яму и вырыли — их первых и расстреляли. Солдаты около пулеметов спокойно переговаривались и курили. Работа, служба такая. Зеков стали разгонять вдоль ямы. Вдруг дед Владимир крикнул: «Бей их!», схватил лопату и нанес одному из близко стоящих конвоиров удар острием в лицо. Лопата рассекла лицо посередине носа, прямо в глаза. Конвоир схватился за лицо и дико закричал.

Часть зеков бросилась на конвоиров, завязалась драка. Пулеметы молчали, чтобы не задеть своих. Охрана стала стрелять из автоматов по мечущейся толпе зеков. Пуля попала деду Владимиру в грудь и он, хрипя, упал. Рот наполнился кровью. Последнее, что видел дед Владимир, — двух бегущих по белому снегу, к опушке леса, людей. Один уже добежал до опушки и скрылся за деревьями. «Успели! Хорошо-то как!» — умирая, подумал дед Владимир, посмотрел вверх и увидел яркое солнце над головой и светлый лик Божией Матери. Прошептал: «Прости меня, Мать Божия, святая Заступница. Господи, прими меня...» Закрыв глаза и умер. И было ему тридцать девять лет!..

А в этот момент, в северной деревне Оме, стоявшая века икона вдруг треснула и распалась на две части, расколотившись вдоль, по лицу, по телу Божией Матери и ребенка на круглом щите...

Александр, хрипя и задыхаясь, добежал до первых деревьев и понял, что пули его уже не достают. И не услышав сзади хрипа брата, повернул назад голову и увидел, как на снег, не добежав нескольких метров до деревьев, падает его брат. Пуля попала тому в голову, и он, молча, мертвый, падал лицом вперед. Александр видел, как окрашивается снег вокруг его головы, потом спокойно вышел из леса, подошел, сел в снег рядом с братом, взял его скользкую от крови голову, положил к себе на колени и стал гладить по коротким волосам, тихо приговаривая: «Брат, брат, брат...» Пуля попала ему в шею, прошла насквозь, и он, уткнувшись лицом в брата, застыл...

Война (продолжение)

На берегу замерзшей холодной северной речки Лица, на промозглом ветру, прибывшая часть старалась зарыться

в землю. Какую землю? Сплошная скала да камень. Солдаты были одеты в старые шинели, старую, снятую с убитых и постиранную, воняющую хлоркой форму, брезентовые ремни, стоптанные ботинки и обмотки. Вместо шапок — летние пилотки. Из оружия у солдат были винтовки времен Первой мировой войны и по одной обойме патронов. Перед этими солдатами стояли великолепно одетые, отлично вооруженные дивизии немецких егерей. Егеря не лежали на камнях, на морозе, у них было все: теплая удобная одежда, теплые блиндажи, ром и шнапс, сало с розовыми прожилками, шоколад, дымящийся бразильский кофе, они были вооружены винтовками и пулеметами с оптическими прицелами, автоматами. Они знали где, когда и какими силами на них будут наступать русские. Они, поставив кольшки разной высоты и не жалея патронов, пристреляли каждый клочок лежащего перед ними пространства, по которому, со дня на день, должно начаться русское наступление.

А советской власти, с ее легендарными маршалами и генералами, было наплевать, что немец знал о наступлении. Еще никогда, с рюриковских времен, не было в русском государстве власти с таким *уничтожительным* отношением к своему народу, к своему солдату! Ни вождь, ни его маршалы и генералы не считались с бессмысленной гибелью миллионов своих граждан. Они боялись одного — проиграть войну! Вот и сейчас они не знали, что немцы сняли свои части и отправили на юг, к Сталинграду, и перед их солдатами остались одни пулеметные команды.

Два солдата, как и тысяча таких же солдат только что сформированного и брошенного сюда полка, старались как-то спрятаться от пронзительного холодного ветра. В зимних северных сумерках они носили камни и строили небольшую стену.

— Сюда бы пару гранат или хотя бы лом. Земли-то нет — один камень, — сказал один солдат.

— Лучше бы бомбу, чтобы сразу и самим отмучиться! — сказал второй.

— Будет нам и бомба, брат.

Это были Григорий и Павел Кокины, братья Ангелины, жены пропавшего где-то в лагерях Владимира Ружникова. Их забрали на фронт в первые месяцы войны, и они честно, как подобает мужчинам их северного рода, дрались с немцем, ходили в атаки, стреляли, кололи штыками и отступали. Месяц назад от их воинских частей осталось несколько сотен человек, и их повели на переформирование, где они и встретились друг с другом. Надо же — воевали рядом, а каждый считал, что другой погиб. Они неделю блаженствовали в тишине, отмывались от грязи и многочисленных вшей, спали и курили махорку. И сейчас, переодетые в старье, они таскали камни и укладывали из них стену. Потом, плюнув на все приказы, развели маленький костер из веточек карликовой березы, согрели по кружке кипятка из снега, съели по сухарю и, прижавшись друг другу, старались задремать.

— Как ты думаешь — это Ангелинин муж, Владимир, был?

— Нет, похож, конечно, немного, но это какой-то старый дед. Правда, он в лагерях считай с тридцатого года, если ссылку учитывать. Бедный мужик, бедная сестра.

— И бедный наш отец, Господи, прими его душу.

Их отец, Иван Павлович, еще тогда, в тридцатом, по приезде грозного Анисима Рокова, был репрессирован и сослан куда-то в Сибирь. От отца пришло всего одно письмо, где он писал о жутких условиях, о голоде и о том, что они едят крыс. Больше писем не было. Умер, наверное.

И вот сейчас, когда часть шла к передовой, им встретилась колонна зеков, которых, когда они проходили, согнали с дороги в снег. Было так страшно смотреть на этих, окруженных солдатами в полушубках, валенках и с автоматами, полумертвых от усталости, одетых в какие-то рваные телогрейки и ботинки людей. В одном из заключенных, поддер-

живаемом двумя такими же заключенными, только моложе, им показалось, они узнали мужа их сестры Анжелины — Владимира. И даже показалось, что он покачал головой, когда посмотрел на них. Но это были секунды.

— Его, говорят, как нашего отца, тоже должны были отправить в Сибирь, а напротив его фамилии в списке надпись «Сибирь» была зачеркнута и стояла «Мезень». Говорят, сам Ворошилов вмешался. Он, говорят, деда Дмитрия по Мезени знал. И потом, его вместе с председателем Никитой Назаровым должны были расстрелять, и опять, говорят, Ворошилов вмешался и заменил расстрел на восемь лет лагерей, — сказал один из братьев...

Братья опять прижались друг к другу, стараясь уснуть. В черноту неба, с немецкой стороны, взлетали ракеты, освещая зловещим смертельным светом безжизненную землю. Да проносились трассирующие пулеметные очереди — немцы постреливали, чтобы самим не заснуть...

— Что, выпались, братья? Молодцы — закрылись от ветра. Вон сколько уже не встает — замерзли! Ни горячей еды, ни костров, мать их... — над братьями стоял командир роты, капитан, в фуражке и ремнях скрипящей на морозе портупеи.

— Ротный, нас решили здесь оставить? Пристрелили бы лучше сразу.

— Сейчас подойдут штрафники, и начнется атака. Их потому и приведут перед самой атакой, а то они бы точно костры развели.

— Какая атака, ротный? Всех перестреляют — немец же, вон, как все пристрелял. Голое поле. Всех положат!

— Думаете, не знаю! У вас-то хоть винтовки, а у штрафников — одна винтовка на троих. Сейчас еще заградотряд подойдет. Подождите, они вас из вашей каморки выселят.

— Пусть попробуют — стрелять начнем.

— Вы что (ротный постучал по лбу)? Либо здесь ляжете, либо в зону пойдете. Видели по дороге?

— Да. Это их пригонят? Вроде от фронта шли.

— Нет. Те враги народа, политические, их наоборот от фронта подальше ведут. К нам — уголовников.

— Надо же — уголовникам доверие, а бывшим кулакам — нет.

— Я этого не слышал, братья Кокины. Сейчас спирт привезут — согреетесь. Готовьтесь к атаке!

— Мы-то всегда готовы. Умереть!..

В утренних сумерках стали подходить штрафники. Их даже не переодели, как были в телогрейках, так и привели на передовую. Эти понимали, что пришли сюда, в эти камни, в это снежное поле, умирать. Спокойно ходили по передовой, ругались матом и посылали всех своих командиров куда-то туда...

Из темноты появились молчаливые фигуры в полушубках, с автоматами. Они тащили за ручки пулеметы. Командир заградотряда, без знаков различия на полушубке, начал орать на ротного:

— Почему нет окопов? Мы что — должны лежать на снегу? А под трибунал не хочешь?

— Вы меня не пугайте. Чтобы вырыть окопы здесь, нужна взрывчатка.

— Так и взрывали бы.

— У нас даже ломов нет. Смотрите — солдаты на снегу лежат. Некоторые уже все — заснули навсегда!

— Тогда займем вот эти каменные стенки. Хотя бы от ветра спасут.

— Попробуйте.

Прозвучала команда: «Раздать спирт штрафникам!» Штрафники столпились у канистр; у каждого была своя алюминиевая кружка. Запасливый народ уголовники. Раздались крики: «Наливай, сука, полную, на смерть идем!.. Я тебе сейчас пику под ребро суну и всю канистру заберу!.. Умирать, так с музыкой!.. Меняю винтовку на кружку спирта!.. А я продам патроны...»

Спирт выпили. Пустые канистры отбросили в сторону.

— Граждане штрафники, стройся, — зычно крикнул командир штафников — офицер в звании капитана, в шинели, фуражке и сапогах. — Сейчас вы пойдете в атаку, будете кровью искупать свою вину перед Родиной, лично перед товарищем Сталиным...

— А товарищ Сталин тоже с нами пойдет? — раздалось из строя.

— Кто это сказал?.. Выходи! Боишься, трус? Вы пойдете в бой. Вы должны взять вон ту высоту. Немцы будут стрелять. Но вы возьмете эту высоту. И не советую вам отступить. Здесь будет стоять заградотряд. Бегущие назад будут расстреляны...

— Спереди смерть, сзади смерть. Некуда бедному крестьянину податься.

— Ой, Спица — крестьянин? Десять человек на нож посадил — и крестьянин.

— Заткнись, а то станешь одиннадцатым.

— Граждане штрафники, кто кровью искупит свою вину перед страной, перед народом, будет зачислен в действующую армию. А родственники его будут получать паек. Если вы погибнете, то погибнете солдатами. Родина не забудет вашего подвига! Вперед, за великое дело Ленина-Сталина, за нашу Родину! Ура!

Штрафники не шелохнулись.

Прозвучала команда: «Заградотряд, развернуть пулеметы, начать огонь!» Уголовники заволновались, шагнули вперед несколько десятков шагов и остановились. Некоторые легли в снег. Смерть молчаливо смотрела на них через прицелы пулеметов ухмыляющимся лицом немецкого солдата.

К стенке, построенной братьями Кокиными, подскочили два откормленных солдатика и, отталкивая братьев, стали устанавливать пулемет.

— А ну, суки, валите отсюда, иначе мы за себя не ручаемся — пристрелим, — сказал с угрозой Павел, снимая, как и Григорий, винтовку с плеча.

Солдаты опешили, потом один из них побежал к своему командиру.

Подошли ротный, в фуражке, и командир заградотряда в шапке и полушубке.

— Ротный, что это твои бойцы себе позволяют? Я сейчас прикажу их прилюдно, перед строем, расстрелять.

— Кто стрелять-то будет? Ты? Твои солдаты? Да тебя враз вместе с твоими бойцами прикончат! Перед тобой не сосунки и не уголовная шушера, эти на фронте с июня сорок первого. Когда мы пойдем в атаку, тогда и займешь. Хотите ложиться — ложитесь в снег. Одеты-то твои... моим бы такое... хотя бы шапки.

— Это тебе так просто, ротный, не сойдет. Рапорт, как положено, я напишу командованию.

— Конечно, напишешь. Если я живой останусь. Чего ты еще умеешь, кроме как рапорты строчить, да из пулеметов нам в спины стрелять? Пошел отсюда, пока тебя не пристрелили! — сказал зло ротный и, отвернувшись, приказал: — Командирам взводов получить спирт. И на замерзших тоже... А вы, братья, молодцы. Только, смотрите, они вам в спину могут начать стрелять. Я их знаю.

— Ты, ротный, мне за оскорбления ответишь! — с угрозой крикнул командир заградотряда.

— Отвечу, отвечу. Сказал же — иди отсюда, не мешай солдатам... спирт пить.

Солдаты заградотряда установили пулеметы и улеглись на снег.

«Огонь! Поверх голов», — приказал командир в полушубке. Раздались очереди.

«Суки!.. Сволочи!.. Бляди!..» — орали зеки, поднимаясь и идя вперед по полю. Немец молчал. Зловещая тишина стояла над полем. Штрафники неуклюже старались делать перебежки, наклонялись, падали, останавливались, снова шли — немецкие пулеметы молчали. До немецкой траншеи было

не более ста метров, когда командир штрафников, выгацив наган, закричал: «За Родину! За Сталина! Ура!», «А-а-а!..» — понеслось по полю, штрафники побежали вперед. Пулеметы молчали. И когда, казалось, вот, несколько метров, и они ворвутся во вражескую траншею, застучали немецкие пулеметы — в упор и откуда-то с флангов. Всего несколько минут — и на голом заснеженном поле лежала тысяча человек; убитых, раненых; тысяча человеческих жизней, хороших ли, плохих ли людей, легли на землю, и ветер снежной поземкой стал заносить их тела и засыпать полные ужаса остекленевшие мертвые глаза.

«Все», — тихо прошептал ротный. Солдаты сжались, понимая, что сейчас, в эту минуту, прозвучит команда и наступит их черед умирать. Взлетела ракета. Ротный вытянулся во весь рост и как-то обыденно произнес: «Пошли, ребята». И было тому ротному от силы лет двадцать пять. Солдаты встали и молча пошли. Григорий, полуобернувшись, увидел, как те двое толстомордых закатывают пулемет за построенную им с братом каменную стенку. «Суки!» — подумал. Они прошли несколько десятков метров, когда сзади раздался выстрел — и у идущего чуть впереди и сбоку ротного шинель разорвалась на спине, и он, вскрикнув, упал мертвый. Григорий повернулся и увидел, как медленно опускает винтовку с оптическим прицелом улыбающийся командир заградотряда. Григорий вскинул свою винтовку и, не прицеливаясь, выстрелил. Командир заградотрядовцев выронил винтовку, схватился за горло и упал вперед лицом. Григорий спокойно повернулся и сказал брату: «Пошли!» Два брата, не кланяясь, не перебегая, не падая, не ползая пошли на немецкие пулеметы. Они до них не дошли. Пришедшие в себя от страха, что и их могут убить, два толстомордых солдата в теплых полушубках выпустили из своего пулемета длинную очередь в спины идущих в атаку братьев — Григория и Павла...

А еще дальше, позади, с шумом пробегали поезда с танками, самолетами, автоматами, теплой одеждой, спиртом...

Конец (продолжение)

Неделю в лагерь приходили обмороженные, почти безжизненные заключенные, и неделю шли расстрелы. Последняя партия была расстреляна ровно по графику, утром седьмого дня. Ров был полон. Четыре тысячи мертвых тел единой массой давили друг на друга, превращаясь в многотонный комок. И когда расстрел прекратился, в наступившей звенящей морозной тишине солнечного дня, ко рву подошло лагерное начальство: подполковник Анисим Иванович Роков и его заместитель, майор, правда, молодой для такого звания, из каких-то неизвестных вологодских лагерей, с которым начальник лагеря и познакомиться-то толком не успел — так много было работы. Оба за эти бессонные дни и ночи осунулись — устали.

Роков ничего не выражающим взглядом посмотрел в наполненный трупами по самые края ров и приказал: «Зарывайте!» Солдаты взяли лопаты и стали забрасывать яму — лишь бы руки-ноги не торчали.

Подполковник повернулся к стоявшему сзади майору и сказал:

— Ну что, майор, приказ родины выполнен. Готовьте дырочку для ордена и новые «шпалы», как у меня. А мне, наверное, полковника дадут. Я думаю, мы это с вами заслужили.

— Так точно, товарищ полковник! — ответил майор.

И когда подполковник вновь повернулся к яме, выстрелил ему в затылок. Стрелял майор хорошо: пуля вошла в череп чуть ниже шапки. Роков упал вперед, на трупы, в яму, и шапка отскочила и покатилась по мертвым застывающим телам.

— Снимите с него полушубок и форму. Кальсоны с рубахой можете оставить. Он не должен отличаться от остальных, — сказал, засовывая пистолет в кобуру, майор.

Два солдата, со страхом, пошли по еще мягким трупам, перевернули Рокова и ловко стащили полушубок, сапоги и форму. За шапкой идти побрезговали. Роков в чистом белье, как необычное белое пятно, лежал среди мертвых людей в старых, грязных, дырявых фуфайках. Яму быстро зарыли.

Конвоиры, под руководством майора, вернулись в лагерь, достали припасенные канистры с бензином и, облив постройки, вышки и забор, подожгли. Майор, оторвав с кителя подполковника орден, медали и воротник с малиновыми прямоугольниками, выбросил полушубок, форму и сапоги в огонь. Дождавшись, когда постройки, вышки и забор рухнут в пламени, майор с солдатами пошли в молчаливую безжизненную деревню, где их ждала крытая машина.

Через пять дней, в Москве, майор стоял навытяжку в кабинете одного из заместителей Лаврентия Павловича Берии, в многоугольном тяжелом здании, на площади перед которым, почему-то в кавалерийской шинели, стоял бронзовый, с козлиной бородой, один из самых главных убийц российского народа.

Хозяин кабинета крепко пожал руку майору и сказал:

— Вы очень хорошо поработали, товарищ капитан государственной безопасности. Да-да, товарищ старший лейтенант — вы повышены в звании и за проведенную операцию по защите нашей родины награждаетесь орденом Красной Звезды. А также вам предоставляется отпуск на десять дней.

На столе тускло блестели орден, медали и «шпалы» убитого подполковника.

Родственников у капитана не было. Точнее, он скрывал, что его дядька с семьей находится на оккупированной территории. Он так думал — что не знали... Капитан, специалист НКВД по особым операциям, поселился в гостинице и стал ждать новых приказов. Он носил гражданскую одежду

и имел документы и командировочное удостоверение от несуществующей организации. На его работе было не принято носить военную одежду, а полученные ордена — он их даже не видел, хранились на специальных стеллажах, в коробочках и, может быть, потом, на пенсии, он смог бы их надеть, но все равно только на гражданский костюм. Такова была его служба — он защищал Родину от врагов. Деньги были, и он спускал их на водку, вино и женщин. В одну из ночей, пьяный, он, по-видимому, перепутав дверь с окном, вышел на улицу с седьмого этажа. Труп погибшего забрали какие-то люди в штатском ... Война.

Расстрельная команда была расформирована и отправлена в воинские части, в разные города страны. По дороге они пропадали: их трупы, раздетые, без документов, без денег, находили около железнодорожных станций. Что делать — война... Бандиты...

Родина умела хранить свои тайны!..

.....

Плачущий в темном углу деревенской школы мальчик еще не знал, что его отца уже нет в живых и что тот, убитый своими же русскими людьми, лежит, как и тысячи таких же безвинных людей, в общей безымянной могиле, около маленькой деревни с красивым названием Березник...

Это потом его отца реабилитируют и сообщат, что он умер «от дистрофии» в 1942 году. В бумаге не скажут, что всех зеков по «политическим» статьям: врагов народа, кулаков — расстреляют при подходе немцев к Мурманской железной дороге. Что уголовникам дадут винтовки и отправят на фронт, в штрафные батальоны. Они не предадут! Они просто погибнут в первом же бою. Но их семьи получают похоронки на героически погибших мужей и отцов. И их дети

будут хвастаться в школах, что их отцы погибли за родину, и еще больше ненавидеть своих сверстников — детей врагов народа и кулаков, и кричать им вслед: «Кулацкая морда!..» И всю жизнь будет ненавидеть...

Мальчик плакал, а в малюсенькой деревенской избе в одну комнату, где уютилась вся его большая семья, в углу, под светом лампадки, смотрела на мир выплаканными глазами с расколотой на две части самой древней новгородской иконы — Защитница Великого Новгорода и всех русских людей, и всего рода этого мальчика от далеких, далеких предков до отца, лежащего в огромной безымянной могиле у деревеньки с названием Березник.

Это потом маленький мальчик вырастет и найдет общую могилу, где лежали безвинные жертвы сталинского террора и где лежал его отец. И привезет горсть земли с этой могилы на могилу своей матери, до конца жизни ждавшей своего мужа, что вот он вернется и скажет: «Здравствуй, лапушка!»

Мальчик только что проводил старшего брата на войну, и тот, как все, будет ходить в атаки и кричать, как все: «Ура! За Родину! За Сталина!..» И получит немецкие пули в свое тело. Но это — ерунда. Живой вернется, с победой!

Еще годы, до хрипоты в горле, до смертельной усталости в руках, его мать как лишенная прав, будет отрабатывать повинность, выполнять задания, рубить лес, ловить рыбу и птиц. Потом будет дом, который он, почти подростком, построит своими руками, будет образование, будет большая любовь и большая семья. И коммунистом этот мальчик станет, и всю жизнь будет верить в идею всемирного, вселенского счастья, но так и не увидит даже краешка этого самого коммунизма, только застанет его закат.

Но все это будет потом. А сейчас он, склонив голову, плакал, и слезы катились из его пустой глазницы...

А над страной несло:

... Сквозь грозы сияло нам солнце свободы,
И Ленин великий нам путь озарил.
Нас вырастил Сталин на верность народу,
На труд и на подвиги нас вдохновил...

И все «граждане и гражданки» этой великой страны, от солдата, умирающего на поле боя, до генерала, ублажающего свою очередную военно-полевую жену, от зека, падающего мертвым от голода за тачкой, до партийной сволочи, жрущей ананасы в блокадном Ленинграде, с трепетом ли, с ненавистью ли восхищались великим вождем! Все!..

Санкт-Петербург, декабрь, 2011 г.

Содержание

Начало.....	3
Падение.....	31
Исход.....	53
Березник.....	56
Мезень.....	85
Ома.....	106
Пыль... лагерная.....	139
Война.....	148
Пыль... лагерная (продолжение).....	162
Война (продолжение).....	163
Пыль... лагерная (продолжение).....	171
Война (продолжение).....	173
Пыль... лагерная (продолжение).....	175
Конец.....	181
Война (продолжение).....	188
Конец (продолжение).....	196

Дмитрий Евгеньевич Ружников

Род

Роман о жизни одной семьи

Корректор *Ю.С. Тарасова*
Оригинал-макет *М.Н. Николаева*
Дизайн обложки *М.Н. Николаева*

Подписано в печать 14.08.2012. Формат 60x90 ¹/₁₆
Бумага офсетная. Печать офсетная
Усл.-печ. л. 12,625. Заказ № 2830
Тираж 150 экз.

Отпечатано в типографии «Нестор-История»
198095 СПб., ул. Розенштейна, д. 21
Тел. (812)622-01-23

